

ЗА ГОД

СБОРНИК СТАТЕЙ

Б. Горева, Д. Далина, Ф. Дана,
А. Ерманского, Л. Мартова
и Финансиста

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„КНИГА“
1919

ЗА ГОД

СБОРНИК СТАТЕЙ:

Б. Горева, Д. Далина, Ф. Дана, А. Ерманского,
Л. Мартова и Финансиста



ИЗДАТЕЛЬСТВО „КНИГА"

Петроград, Просп. 25 Октября (б. Невский), 74, тел. 1-31-49
Москва, у Покровских ворот, Внешний Чистопрудный проезд, 19,
тел. 3-98-39

Пятая Государственная тип., Птгр., Стремянная, 12.

Содержание.

Стр.

От редакции.

Статьи, вошедшие в настоящий сборник, были сданы в набор *еще в октябре.* Следующий сборник будет посвящен создавшемуся в результате последних событий *новому международному положению.*

Все статьи сборника об'единены общим мировоззрением революционного марксизма, но в этих общих рамках каждый автор несет ответственность за свою статью.

Вопросы войны и мира.

Внешняя политика революционной демократии в первую полосу революции была рассчитана на достижение мира *всеобщего и демократического.* Этой основной задаче—скорейшего окончания войны, грозившей гибелью революционным завоеваниям—была подчинена и вся внутренняя политика демократии.

Главным фактором достижения всеобщего демократического мира могло быть только *международное пролетарское движение.* Стремясь стимулировать его всеми доступными ей средствами, демократия в лице Советов в то же время провозгласила необходимость *обороны революционной страны* до тех пор, пока сила империалистического сопротивления не будет сломлена *международным* пролетарским движением. Отвергая сепаратный мир, она стремилась ослабить, но не могла порвать уз, привязывавших революционную Россию к одной из воюющих коалиций. Вынужденная держать на фронте и в казармах 10—12 миллионов крестьян, она откладывала разрубание Гордиева узла земельных отношений до возвращения этих крестьян по домам. Обреченная на продолжение войны в течение некоторого времени ради всеобщности и демократичности будущего мира, она избегала острых политических и социальных конфликтов, которые могли бы подорвать „устойчивость и крепость фронта“. Отсюда—коалиция с теми буржуазными элементами, которые готовы были признать демократическую программу и которые слишком часто, признавая ее на словах, на деле тормозили проведение и тех социально-политических реформ, которые могли бы быть осуществлены и в данных условиях.

У этой политики всеобщего демократического мира был один основной порок—она могла бы оправдать себя, только

если бы дала *скорые* результаты, потому что колоссальная экономическая разруха, оставленная в наследие революции царизмом, и страстная тяга домой усталой и деморализованной поражениями армии не мирились с затягиванием войны. Поэтому политика эта потерпела крушение, лишь только обнаружилось, что главный фактор достижения мира—международное пролетарское движение—созревает чересчур медленно.

Пролетарскому авангарду удалось на первых порах внушить мужицкой армии веру в рабочий Интернационал, о котором она раньше никогда не слыхала. Но солдатская масса восприняла эту веру, как веру в некую мистическую силу, способную одним ударом—наподобие русской революции—дать желанный мир. Эта вера так же быстро исчезла, как была воспринята, лишь только обнаружилось, что политика, рассчитанная на мощь пролетарского Интернационала, не дает немедленно практических результатов. Солдатская масса начинает откровенно говорить о мире немедленном, о мире во что бы то ни стало, о своей тяге домой, которую армия начала практически осуществлять еще при царизме колоссальным развитием дезертирства и которая была несколько приостановлена первой полосой революции. В то же время в рабочей среде начинает расти недовольство затяжкой социально-экономических реформ и склонность к максималистским лозунгам, а крестьянство, оставшееся в деревнях, спешит воспользоваться всеми выгодами своего положения и с началом весенних работ широко приступает к неорганизованным захватам помещичьих земель.

Неудача наступления 18 июня и события 3—5 июля вскрывают поражение русской политики всеобщего демократического мира со всеми социально-политическими надстройками на ней. В среде революционной демократии, особенно в социал-демократической части ее, зреет сознание необходимости признать *поражение* революционной России в империалистской войне за исходный факт политики мира и потому от политики мира демократического перейти к политике мира *компромисного*, хотя бы и с пожертвованиями со стороны России, а вместе с тем немедленно приступить к частичной демобилизации армии, фактической передаче помещичьей земли в руки крестьян, радикальному государственному регулированию промышленности и образованию однородной демократической власти, так как при новом повороте политики коалиция с имущими классами может быть только тормозом.

Но этот новый поворот политики дается не легко. Отказавшись от последовательного демократизма мирной программы, революционная демократия не может отказаться от принципа всеобщности мира, не может не видеть в мире сепаратном поражения русской революции и удара по международной. и это вносит противоречие в намечающуюся линию поведения. Но—самое главное—новая программа встречает решительное сопротивление в организованных элементах мелкобуржуазной демократии. Утрата веры в миротворческую силу рабочего Интернационала побуждает их теснее прислониться к союзникам, и Совет Крестьянских Депутатов вносит соответствующие поправки в наказ Совета Р. и С. Д. Скобелеву. Явления развала в армии, анархия в городе и деревне толкают их к поискам „сильной власти“, к закреплению коалиции с имущими классами, к решительному отказу принять участие в образовании однородной демократической власти, что делает и самое образование это невозможным.

Лишь после долгой внутренней борьбы, шатаний и колебаний, социал-демократии удается 24 октября объединить в Предпарламенте значительную часть демократии на требовании немедленного приступа к мирным переговорам и немедленной передачи земли земельным комитетам.

Но уже поздно. С июльских дней и, особенно, после Корниловской истории, волны солдатской стихии вздымаются все выше и выше. К ним с явной надеждой, хотя и пассивно, присматриваются рабочие массы. Они легко сносят прогнившее здание пережившей себя коалиции, и на их гребне выплывают к власти *большевики.*

Победа большевизма стала исторически неизбежна в отсталой крестьянской стране, когда выяснилось, что в течение 8 месяцев революция оказалась не в состоянии дать обещанного ею демократического мира и в то же время не сумела побороть хозяйственную разруху настолько, чтобы иметь возможность продолжать оборонительную войну; когда обнаружилось, что „хозяйствующая“ мелкобуржуазная демократия города и деревни и под давлением пролетариата неспособна победить сопротивление имущих классов и союзного империализма, затягивавших войну; когда поэтому решающая роль в вопросах войны и мира перешла в руки оторванных от хозяйства элементов той же демократии в лице солдат, *а мир во что бы то ни стало* сделался исторической необходимостью.

Социальный утопизм с его „возвышающим обманом“ позволил партии большевиков взять на себя роль выразительницы этого исторически неизбежного процесса капитуляции экономически и культурно отсталой страны, как ореол партии мира, в свою очередь, позволил ей использовать свое господство для утопической социальной политики, стоявшей в резком противоречии с вынесшей ее к власти социально-политическою отсталостью.

* * *

Внешняя политика большевизма складывается под влиянием двух элементов. С одной стороны, ее определяет *теория*, хотя и далеко не сразу воспринятая большевистскою партиею, но задолго до революции формулированная в основных своих чертах Лениным. С другой стороны—давление развязанных войною и революциею стихийных социальных сил, опираться на которые приходится большевикам. Социальная природа этих сил и их действительные стремления, кратко характеризованные выше, заставляют не только отступать то теории, но зачастую действовать прямо вопреки ей в интересах захвата и удержания власти в своих руках.

Ленинская теория гласит: развязанные мировой империалистической войной конфликты не могут быть ни смягчены, ни разрешены на почве капиталистического общества. Их может разрешить лишь *мировая социальная революция*. К ней и надо непосредственно идти. Всякие же попытки строить хотя бы самые революционные и радикальные программы мира, суть ничто иное, как „поповские“ благочестивые пожелания. До социальной революции не может быть мира, а может быть лишь война, и долг социалистов заключается в том, чтобы, ниспровергая свои правительства и захватывая власть в свои руки, превращать войну из империалистической в социально-революционную, из войны национальных капиталов между собою в интернациональную наступательную войну труда на капитал.

Такова—теория. Но она лишь в самые первые дни революции нашла выражение на страницах официального большевистского органа „Правды“. Ее несоответствие объективному положению революции, угрожаемой дальнейшим продолжением войны, и классовому инстинкту восставшего российского пролетариата, и жгучей потребности народных и,

особенно, солдатских масс в мире—было столь очевидно, что в практике политической агитации с нею делать было нечего. И мы видим, что на деле большевистская партия принимает ту же программу всеобщего демократического мира без аннексий и контрибуций с признанием права народов на самоопределение, как и вся революционная демократия. „Священная“ революционная война фигурирует в политической агитации лишь в качестве последнего аргумента в споре с критиками противоречий большевистской тактики на тот случай, если добиться всеобщего демократического мира методами этой тактики не удастся.

Поэтому на апрельском совещании советов часть большевиков даже не голосует против „революционно-оборонческой“ резолюции, а воздерживается, соглашаясь взять на себя обязательство лишь „не дезорганизовывать“ фронт, а не заботиться об его „устойчивости и целости“.

В мартовском совещании 65 советов Московской области яркая „революционно-оборонческая“ резолюция об отношении к войне принимается даже единогласно, а на Минском фронтовом с'езде под председательством большевика Позерна против резолюции апрельского совещания голосует лишь 8 делегатов при 46 воздержавшихся. И т. д.

Еще на первом Всероссийском С'езде Советов (в июне 1917 г.) проект резолюции, вносенный большевиками, „самым решительным образом высказывается против сепаратного мира с германскими империалистами“; подчеркивает, что „из империалистской войны... нельзя выйти простым отказом солдат одной стороны от войны“; требует, чтобы „империалистическая война окончилась прочным и длительным всеобщим демократическим миром“; и обещает, после перехода власти в руки советов, впредь до достижения такого мира, „потребовать от армии напрячь все свои силы для решительной самоорганизации и революционной дисциплины“.

Наконец, уже перед самым переворотом, 17 октября, в те самые дни, когда Троцкий об'являет в своей брошюре „Программа мира“ самое идею мира без аннексий и контрибуций „мелкобуржуазною утопиею“, на всероссийской конференции фабрично-заводских комитетов большевики проводят резолюцию, которая стоит целиком на почве этой „утопии“ и говорит, что „советская власть должна... впредь до заключения мира взять на себя защиту революционной страны от идущего на нее походом мирового империализма“.

Так пасует теория большевистской партии, когда ей приходится сталкиваться лицом к лицу с рабочим классом.

Но на этом приспособлении большевистской теории дело не останавливается. Поскольку бунт крестьянско-солдатской стихии против войны становится решающим фактором в ходе ближайших фазисов революции и поскольку,—совершенно в духе своей анархо-бланкистской тактики,—большевики хотят использовать этот бунт, чтобы придти к власти и „сверху" осуществить программу социального переворота, им приходится не только затушевывать свою теорию, но по-просту отбрасывать ее в сторону.

Еще на июньском с'езде советов фронтовая делегация настойчиво указывает на специфические черты „армейского большевизма", находящего себе выражение в „Окопной Правде" и тьме подобных изданий и в устной проповеди большевистских агитаторов. Усталые и деморализованные крестьянско-солдатские массы все меньше интересуются и всеобщностью и демократичностью ожидаемого мира. Им нужен мир, пусть сепаратный, пусть позорный, лишь бы немедленный. Дальше осени они ждать во всяком случае несогласны.

И большевизм в армии целиком приспособляется к этой солдатской психологии. Солдатам не говорят о „революционной" войне, которая так же мало прельщает их, как и война вообще. Им говорят о мире немедленном, мире „окопном", достигаемом тем самым „втыканием штыков в землю", которое категорически осуждалось в резолюции большевиков на июньском с'езде. Практика „братания", проповедь отказа от выполнения боевых приказов, раздувание розни между солдатами и офицерством, прикрывание „революционным" ореолом всех проявлений „шкурничества" и дезертирства—все это на деле превращается в могучее орудие развала, дезорганизации фронта, от которой большевики открещивались в апреле, от которой они продолжают открещиваться в своих официальных резолюциях. Большевики берут на себя роль идеологов стихийной демобилизации армии, выдохшейся и уже неспособной ждать того далекого мира, который позволит демобилизовать ее организованно.

Агитация большевиков в армии внушала солдатам мысль, что „власть советов" есть действительное средство для получения *немедленного* мира. Большевики выдавали солдатской массе векселя, которые они сами считали, быть может, бронзовыми, но по которым пришлось платить полностью, лишь

только выяснилось, что и захват власти и удержание ее своих руках больше всего зависят от настроения и поведения армии.

* * *

Первым таким платежом является *„декрет о мире“*, изданный на другой день после переворота. О социальной революции, как предпосылке мира, о революционной войне, как средстве зажечь пролетарское восстание во всех концах мира, об игнорировании „грабительских“ правительств и разговоре через их головы только с народами—в декрете ни слова. Декрет обращается не только к народам, но и к правительствам и стоит на почве „мира без аннексий и контрибуций“, но и это условие советское правительство „не считает ультимативным“. Оно „соглашается рассмотреть и всякие другие условия мира“.

В своих речах о декрете Ленин откровенно поясняет причины такого противоречия практики с теорией: „Нам нечего бояться сказать правду об усталости... Наше предложение о перемирии тоже не должно быть ультимативным... Мы все предложения мира внесем на заключение Учредительного Собрания... Ультимативность может оказаться губительной для всего нашего дела... Мы не смеем, не должны давать возможность правительствам спрятаться за нашу неуступчивость... Мы не можем игнорировать правительства, ибо тогда затягивается возможность заключения мира“. Такими признаниями пестрят обе речи Ленина по декрету о мире. Повелительная необходимость удовлетворить требование солдатской стихии о „немедленном“ мире ломает в первый же день прихода к власти все теории и определяет собою всю действительную внешнюю политику большевизма в первую полосу его торжества.

И когда декрет о мире остается без ответа со стороны и Германии, и союзных правительств; когда генерал Духонин, на которого большевистское правительство старается возложить перед солдатскими массами ответственность за достижение мира, отказывается от возлагаемой на него миссии; когда становится очевидно, что не дать мира сейчас—значит оттолкнуть от себя солдат,—Ленин и Крыленко издают 7 ноября приказ, где, в полном противоречии с большевистской резолюцией на июньском с‘езде, предлагают выйти из войны „простым отказом солдат одной стороны“, призывают

„полки, стоящие на позиции“, выбирать уполномоченных „для формального вступления в переговоры о перемирии с неприятелем“. Мир „окопный“ вступает в свои права. И если на заседании Ц. И. К. Ленин еще 9 ноября пытается приукрасить эту политику и заявляет, что „наша партия не заявляла никогда, что она может дать немедленный мир“, то его на следующий же день дезавуирует новый верховный главнокомандующий Крыленко, заканчивающий свой первый приказ по армии и флоту возгласом: „да здравствует *немедленный* мир“. „Русская армия и русский народ не могут и не хотят дольше ждать“, заявляет обращение Совета Народных Комиссаров к правительствам и народам союзных с Россиею стран от 14 ноября, впервые открыто говорящее о перспективе *сепаратного* мира.

Эта „окопная“ политика, вынужденная стихийной демобилизацией старой армии, дает с своей стороны колоссальный толчок этой демобилизации. Развал фронта принимает гигантские размеры, солдатские массы толпами бегут по домам, сметая все препятствия на своем пути, задерживаясь в городах, местечках, узловых станциях, образуя всюду полуголодную, непристроенную, жадную толпу и лишь постепенно рассасываясь по медвежьим углам России. Этот катастрофический процесс стихийной демобилизации старой армии естественно приводит советскую власть к политике „грабежа награбленного“ внутри страны и полной капитуляции в области внешней политики.

Дальнейшее слишком хорошо известно. Судорожное цепляние за каждое проявление пролетарского движения на западе, как за признак вот-вот готовой разразиться международной революции; попытки обмануть самих себя то официальными заявлениями большевистской мирной делегации, что „Германии совершенно чужды захватные планы“, то хвастливыми уверениями о „Вильгельме, припертом к стене“, о том, что „мы подпишем только почетный мир“, а „неприемлемые условия“ швырнем Учредительному Собранию; знаменитая „формула“ Троцкого („из войны выходим, мира не подписываем, армию демобилизуем“), наносящая, по словам Зиновьева, „смертельный удар“ мировому империализму,— все эти трагикомические жесты и фразы и Троцкого, и „левых“ коммунистов—Радека, Бухарина и др., отдаляющие капитуляцию, но ни на секунду не задерживающие развала фронта и впоследствии так жестоко осмеянные Лениным, за-

ставляют советскую власть лишь глубже скатиться по наклонной плоскости, на которую она вступила,—вплоть до второ-Брестского мира, условия которого даже обсуждать некогда, а приходится подписывать, не читая. Перед неумолимою логикою фактов очень скоро рассеивается, как дым, и „лево-коммунистическая“ оппозиция. Советская власть вступает в период „передышки“.

* * *

С заключением мира условия существования советской власти в корне меняются. Армия рассосалась, перестала служить определяющим фактором всей политики большевиков, но вместе с тем перестала быть и их главной опорой. Сохранившиеся вооруженные силы состоят из незначительного числа одушевленных революционным энтузиазмом рабочих, а главным образом—из отбившихся от дома выходцев фронта, искателей приключений, любителей легкой наживы. С этими вооруженными силами можно одерживать победы в гражданской войне, но с ними немыслимо оказывать сопротивление сколько-нибудь серьезным воинским частям и уж, конечно, нелепо мечтать о наступательной „революционной“ войне. К тому же вера в близость международной пролетарской революции подорвана. Она рисуется в виде далекого светлого маяка, который сулит спасение, но к которому ведет еще длинный путь. А в то же время второ-Брестский мир опутал советскую власть тяжелыми обязательствами к германскому империализму, рассек на части Россию и окружил советский „оазис“ кольцом „независимых“ государств, каждое из которых и само по себе враждебно советской власти, и служит аванпостом германского милитаризма, готового каждую минуту вновь перейти в наступление. Становится остро вопрос о самосохранении советской власти до более благоприятных времен. Ответом на этот вопрос служит лозунг: „передышка“.

Но содержание, вкладываемое в этот лозунг, отнюдь не остается неизменным. Оно непрерывно меняется в зависимости от внешней и внутренней политической обстановки.

В первую минуту после капитуляции кажется, что достаточно „нескольких месяцев мирной работы“ для „реорганизации России на основе диктатуры пролетариата“ и создания „могучей рабоче-крестьянской красной армии“, которая понесет в Европу факел социалистической революции.

Так формулирует задачи „передышки“ Ленин в своих первоначальных тезисах 8 января.

Но иллюзорность такой постановки вопроса слишком бьют в глаза, и этот первый этап „передышки“ сменяется вторым, когда, в своих февральских статьях, Ленин развивает програму целой „эпохи“ поражений, побед, падений, под'емов и т. п. с перспективой „новой и настоящей отечественной войны“ в конце ее, подобной той войне, которою Пруссия после Иены высвободилась из-под наполеоновского ига. На этом этапе „передышка“ сводится к активной внешней политике, к „использованию розни между империалистами“, к „лавированию“ в дебрях империалистических конфликтов, к „экономическим договорам с империалистическими державами“, к получению „оружия и картошки“ от одних империалистов для войны с другими и т. д.

В этот период советская власть явно заигрывает с коалицией держав согласия, особенно с Америкой, наименее затронутой финансово-экономической политикой большевиков, и Ленин издевается над „сторонниками „революционной войны“ без взятия помощи от империалистов“ (ст. „Странное и Чудовищное“ в „Правде“ от 28 февраля).

Но и этот „прусский“ этап внешней политики большевизма недолговечен. Власть, лишенная военной силы и экономической мощи, власть, не об'единяющая страну, а рассекающая ее гражданской войной, власть, не собирающая вокруг себя демократические народные силы, а раскалывающая их,—такая власть оказывается неспособной вести самостоятельную, активную, да еще воинственную политику. В этот период рабочие массы еще верят в спасительность „рабочего контроля“, крестьяне еще благодарны новой власти за землю, разошедшиеся по домам солдаты—за мир, но именно поэтому они все менее всего склонны начинать снова „целую эпоху войн“. Америка, да и другие страны Согласия, не прочь отвечать на заигрывания большевиков, но с слишком очевидным намерением—задушить их в своих дружеских об'ятиях. Здание „прусской“ политики, построенное на Брест-Литовском песке, рассыпается так же быстро, как было возведено, и „передышка“ вступает в новый этап.

На этом этапе, смысл которого формулирован Лениным в статье-брошюре „Очередные задачи советской власти“ („Правда“, 28 апреля), советская республика признает свое бессилие в области внешней политики, мирится с созданным

в Бресте положением, с германской оккупацией формально „независимых" окраин и решает, в стороне от большой дороги международной политики, заняться внутренним устроением. Ленин заявляет, что лишь „стечение обстоятельств" защищает советскую республику от решительного натиска империалистических сил, занятых своею титаническою борьбою, и что единственный способ оказать „серьезное содействие запоздавшей в силу ряда причин социалистической революции" заключается для советской республики в разрешении своей собственной, внутренней „организационной задачи", которая сводится к „сохранению общественности", „приостановке" наступления на капитал, поднятии производительных сил и т. д.

Но эта попытка зажить „мирною", „органическою" жизнью очень скоро разбивается о внутренние противоречия большевистского режима. На данной ступени разрушения производительных сил, он не в состоянии своими утопически-социалистическими методами не только поднять эти силы, но и остановить их разрушение. Наоборот, недовольство рабочих, поставленных лицом к лицу с останавливающимися станками, заставляет его усилить тот „красногвардейский наскок на капитал", который он только что осудил; заставляет пойти за хлебом крестовым походом на деревню, на которую он хотел опереться; заставляет снова зажечь пламя гражданской войны, прекращение которой он вчера только успел благословить.

Но и международные факторы, от воздействия которых советская республика хочет уйти под сень внутренней „организационной" работы, не оставляют ее в покое. Германия приступает к последовательной реализации своей Брестской победы и заставляет большевистское правительство покорно следовать всем ее велениям. Вчерашние союзники начинают активно наступать на советскую власть и опираются при этом наступлении на значительные общественные силы внутри самой России. Большевикам приходится все больше и больше поворачивать свои незначительные вооруженные силы лицом к „союзническому" фронту, и в эту же сторону, само собою понятно, охотно подталкивает „восточного соседа" Германия. Так „передышка" вступает в новый и последний этап, являющийся ее собственным отрицанием: советская власть, заключившая мир с Германией, начинает снова войну—на этот раз против вчерашних „союзников".

Круг „передышки" завершен. Но вместе с тем завершен и круг всей большевистской политики, внешней и внутренней.

Большевики пришли к власти, как партия мира, а теперь, год спустя, выступают, как партия войны. Это значит, что крестьяне-солдаты, только что вернувшиеся домой, будут снова оторваны от производительного труда и брошены в окопы: говорят, ведь, уже о создании 3-х-миллионной армии! Это значит, что те ничтожные запасы машин, топлива, металла, шерсти, кожи и пр., которыми еще располагает советская Россия, будут снова обращены целиком на военное снабжение и снаряжение. Потребностям войны снова будет подчинен транспорт, продовольствие, финансы, им будет отдан рабочий скот и перевозочные средства. После нескольких месяцев „передышки" Россия, уменьшенная в своих размерах, отрезанная от областей, являющихся главными источниками хлеба, топлива и сырья, об'ятая еще вдесятеро сильнейшей разрухой, возвращается к тому же положению, которое год тому назад сделало мир во что бы то ни стало неизбежным, свалило правительство Керенского и передало власть в руки большевиков. Ясно, что такое положение равносильно катастрофе, кризису целой полосы развития революции. Большевики поэтому вполне правы, когда, несмотря на видимые свои успехи на чехо-словацком фронте, утверждают, что никогда еще советская власть не находилась в такой опасности.

* * *

Правда, в новую полосу войны Россия вступает при значительно изменившихся обстоятельствах.

Германия, поставившая Россию в Брест-Литовске на колени, ныне сама находится под угрозою военного разгрома. Таким образом узы германской ориентации, навязанной советской власти миром, ослабляются. Вместе с тем получает возможность свободнее развиваться процесс социального брожения в оккупированных Германиею частях России,—процесс, многими своими чертами идущий навстречу большевизму. Наконец, и в приволжском районе с очевидностью вскрывается непрочность всяких попыток части демократии утвердить формальный демократизм на основе противоестественного союза с контр-революционными и союзно-империалистическими силами.

С другой стороны, самое ослабление военной мощи Германии находится в теснейшей зависимости от стихийно-революционных процессов, не только выбивающих из строя, одного за другим, ее союзников—Болгарию, Турцию, Австро-Венгрию, но глубоко проникших в ее собственную армию и в ее пролетариат. Впервые со дня своего рождения русская революция окружается и международною революционною атмосферою.

Впервые создаются таким образом условия, при которых все части русской демократии могли бы повернуться единым фронтом против всего мирового империализма и добиться действительно прочного и приемлемого договора. Но на пути такому развитию стоит политика правящей партии.

Социальный утопизм уже не раз играл с большевиками злую шутку, заставляя их принимать „второй месяц беременности социальной революции за девятый". Благодаря этой азартной спекуляции на немедленное наступление мировой социальной революции, большевики ускоряли разложение армии вместо того, чтобы задерживать его; разложив ее, отказались подписать перво-Брестские условия и были принуждены принять бесконечно худшие второ-Брестские; вместо борьбы с хозяйственной разрухой усилили ее; толкнули широкие слои мещанской, крестьянской и даже пролетарской демократии в об'ятия союзных империалистов, тем самым усиливая их и собственными руками подготовляя карательную экспедицию против русской революции; попали сами в плен к германскому империализму, а ныне, высвобождаясь из этого плена, оказались вынужденными начинать новую войну.

Злейшую шутку грозит сыграть этот социальный утопизм с большевиками и теперь. Строя свои расчеты на скором наступлении социальной революции в Европе, они отвечают на первые признаки международной революционной весны лишь подготовкой той „революционной войны", о которой говорили в начале своей головокружительной политической карьеры.

Но—чистейшая иллюзия думать, будто экономическое состояние России после года советского режима может позволить ей содержать трех-миллионную армию и вести новую войну. И—чистейшая иллюзия полагать, что крестьянство захочет вновь бросить свои поля и уйти на фронт ради осуществления мировой социальной революции. В ближайшее

время всякая сколько-нибудь многочисленная армия, набранная принудительной мобилизацией и брошенная в огонь, явится послушным орудием в руках того, кто даст ей мир какою бы то ни было ценою. Ошибочно думать, что благодарность за полученную землю помешает такой крестьянской армии обратиться против советской власти. И контр-революционная власть, если захочет удержаться, так же вынуждена будет закрепить за русскими крестьянами землю, завоеванную революцией, как вынужден был закрепить ее за французскими крестьянами Наполеон I. Но при продолжении политики, делающей город паразитом на деревенском теле, дающей крестьянам землю одною рукою, чтобы другою отнять у них все плоды пользования этою землею, контр-революция легко получит в глазах крестьянина то преимущество, что закрепит за ним не только землю, но и плоды ее, выдаст, в свою очередь, город с головою деревне. Вот почему мобилизованная принудительным набором крестьянская армия не может быть опорой советской власти. И вот почему политика революционной войны на базисе социального утопизма неминуемо придет к крушению.

А между тем, как ни быстро относительно идет процесс революционизирования солдатских и народных масс во всем мире, в высшей степени опасно преувеличивать скорость этого процесса в странах старой капиталистической культуры, крепкой, организованной буржуазии, обособленного от пролетариата, проникнутого буржуазным сознанием крестьянства и мещанства. Уже теперь германские товарищи не перестают предостерегать нас против переоценки быстроты революционного развития Германии. А в странах Согласия массовые революционные проявления находятся еще лишь в зародыше и их развитие может быть необычайно задержано блестящими победами.

При таких условиях может не мало воды утечь прежде, чем вновь мобилизуемой армии придется драться на баррикадах международной социальной революции. Реальные же перспективы сулят ей прежде всего войну с дисциплинированными войсками союзной коалиции, а может быть, и всего об'единившегося империалистического мира.

В этом случае вся надежда русской революции может быть лишь в том, что борьба с нею иностранных войск будет разлагать эти войска и будить активный протест в рядах рабочих всего мира. Но это разлагающее и революцио-

низирующее действие русской революции будет тем меньше, чем больше сама она будет представлять царство разложения. Трудящиеся массы Европы, Америки и Азии будут тем меньше получать импульсов спешить на помощь русской революции, чем более будут убеждаться в том, что сами русские рабочие и крестьяне стоят по *обе* стороны готовящегося фронта. Карательные войска союзного империализма тем менее будут способны понять свою действительную роль, чем больше факты будут говорить им о том, что не малое число русских рабочих и крестьян готово видеть в них не своих завтрашних палачей, а своих сегодняшних освободителей от разрухи, насильничества и террора.

Только последовательная демократическая политика, ставящая себе цели, соответствующие уровню экономического развития России, и потому способная спаять в одну мощную силу весь пролетариат и все крестьянство, может разрешить в революционном духе противоречия, созревшие под крышою советского режима, обеспечить внутренний мир и дать максимальные шансы на ослабление внешнего напора.

Вне такой политики революционного выхода из кризиса нет. Социальный утопизм не только подрывает внутренние силы русской революции, но ослабляет и ее международное значение.

Ф. Дан.

Диктатура и демократия.

I.

Вопрос об отношении диктатуры к демократии становится одним из важнейших тактических вопросов, выдвинутых перед пролетариатом в настоящий, глубоко-революционный момент всемирной истории. Уже не одна только русская, но и западно-европейская марксистская литература начинает его обсуждать, как проблему не нашей только, российской, но и мировой революции.

Представляется чрезвычайно знаменательным тот факт, что не только импульсы к постановке этой проблемы даются, но, частью, и конкретные решения ее навязываются сознанию революционных социалистов всего мира представите-

лями революционного движения той страны, которая позже других европейских стран захвачена капиталистическим развитием и увидала у себя социалистическое движение пролетариата. Мечты Бакунина и Нечаева, русских народников-анархистов 70-х г.г. и анархистов-коммунистов и максималистов 1905 года, о том, что русская революция раскроет миру новые перспективы социального творчества, преодолев и отбросив в сторону, как выражались в 70-х г.г., „немецко-жидовский государственный социализм Маркса и Лассаля“, начинают как будто осуществляться. Вопрос о политических формах пролетарской революции, столь остро стоявший перед международным пролетариатом в период I-го Интернационала (марксисты, бланкисты, прудонисты, анархисты), вновь на очередь поставленный кризисом застоя рабочего движения во второй половине 90-х г.г. (ревизионисты-марксисты), еще раз встал перед социалистами Запада через 10 лет, когда стали выявляться характернейшие черты империалистического периода, ведшего к всемирной войне. Вопрос о пригодности демократии, как средства социалистического переворота, снова в этот период решался в отрицательном смысле анархо-синдикалистскими теоретиками Франции и Италии, практиками синдикализма в Англии и Соединенных Штатах (т.-н. „индустриальные союзы рабочих“), крайним левым флангом социалистов Германии и Голландии. Замечательно, однако, что те *формы*, которые, в представлении этих революционных противников демократии, намечались для классового господства победившего пролетариата, не были усвоены той диктатурой, которую впервые пытаются осуществить в России. Не синдикат, профессиональный или производственный союз, к которому, как к основной ячейке классового господства пролетариата, фатально толкалась мысль этих противников демократии, явился формой осуществления революционной диктатуры в России, — стало быть, не тот орган, в котором в ходе исторического развития воплотился антагонизм между социально-революционными тенденциями пролетарского движения и политическими формами демократии, выработанными революционным творчеством непролетарских классов [1]). Напротив, та форма, которая была

[1]) Он начал воплощаться уже в 30-х годах прошлого века в идеологию многих представителей английского чартизма, совершенно по синдикалистски ставивших вопрос о замене власти пар-

выработана, как специфическое орудие борьбы народных масс против до-капиталистического государства, — советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, — которая выявила свое значение в этой борьбе еще в 1905 году, как своеобразное видоизменение, в соответствии с выросшей общественной ролью пролетариата крупной промышленности, форм политического воздействия революционных масс в 1792—1793 г.г.(„секции", клубы...), ныне навязывается сознанию некоторых социалистических групп передовых стран Европы, как желанная искомая форма, единственно пригодная для осуществления подлинной диктатуры рабочего класса. „Советизм" начинает вытеснять революционный синдикализм во всех его формах.

Вряд-ли представляется случайным то обстоятельство, что страна наиболее молодого и наиболее отсталого капитализма явилась, таким образом, источником социального вдохновения для обществ с гораздо более сложной и высокой экономической культурой. Жизнь капиталистического общества, сдавленного в течение четырех лет железными тисками мировой войны, должна была достаточно упроститься экономически, хозяйственная политика его должна была,—за вычетом все растущей суммы энергии, расходуемой на производство орудий разрушения накопленных десятилетиями ценностей, — свестись к заботе об удовлетворении элементарнейших потребностей населения в пище, чтобы создалась в передовых странах психологическая обстановка, при которой формы проявления социально-революционного процесса в отставшей от них почти на столетия стране и беспомощные методы социального строительства, применяемые ее отсталым народом, могли представляться теми формами и методами, в коих суждено осуществляться делу общечеловеческого освобождения. Чтобы тамбовский мужик, деклассированный и лишь слегка затронутый в своей экономической примитивности четырьмя годами казарменно-фронтовой школы и некоторым трением о среду современного городского пролетариата, мог навязать формы своей революции идеологическим представителям рабочих масс старейших, на миро-

---

ламента классовой диктатурой трэд-юнионов. Впоследствии, как известно, революционные синдикалисты пользовались словами К. Маркса в одном из писем Генерального Совета Интернационала о профессиональном союзе, как ячейке социалистического общества.

вом рынке, подвизавшихся индустрий, для этого было предварительно необходимо, чтобы катастрофа всемирной войны отбросила экономику этих индустрий на несколько ступеней назад, сузив ближайшие, перед глазами масс стоящие, задачи рабочего движения до почти-тамбовской ограниченности. Европа должна была быть предварительно „об'азиячена“ экономически для того, чтобы Азия могла диктовать идеологические формы сознанию ее сынов.

Недавно „Правда“ познакомила нас с интересной в высшей степени статьей Клары Цеткин „Через диктатуру к демократии“. Вряд-ли мы ошибемся, если мы скажем, что эта статья представляет собой самую талантливую апологию большевистской диктатуры, какая только появилась со времени октябрьского переворота 1917 года. И не только талантливую апологию. По силе убедительности для непредубежденного, да и для предубежденного читателя-социалиста, эта статья далеко оставляет за собой самые сильные произведения русской печати, пытавшиеся обосновать и защитить анти-демократическую диктатуру. Между тем, именно тот факт, что эту самую талантливую и убедительную защиту русской рабоче-крестьянской диктатуры дала и могла дать тов. Клара Цеткин, говорят целые томы против идеи этой диктатуры. Ибо цельность и стройность аргументации т. Цеткин, придающие такую логическую убедительность ее защите, куплены ценой крайней *отвлеченности* последней. Клара Цеткин говорит и о разгоне Учредительного Собрания, и о мотивах этого разгона, и об устранении от выборов в Советы части населения, и о красном терроре; ей, очевидно, знакома, в общем и целом, *внешняя*, политическая история октябрьской революции, и она оперирует конкретными фактами этой истории. И, тем не менее, статья ее совершенно отвлеченная; в ней нет и тени намека на знакомство с тем социальным содержанием, которым наполнены внешние политические формы происходящей в России революции. Ее рассуждения таковы, что допускают применение ко всем и всяческим человеческим обществам. Для революции, совершенной народными массами в Китае, в Персии, в Мексике, одинаково могли бы годиться выводимые ею законы развития, как и для революции, осуществленной пролетариями Германии и Соединенных Штатов. Разрушение демократии, как необходимый путь создания демократии более полной, более совершенной, осно-

ванной на „экономической свободе и равенстве", одинаково спасительно и для общества, пережившего десятилетия, если не века, постепенного развития демократического строя, его под'ема и упадка, выявления его внутренних противоречий, его диалектического самоотрицания под влиянием ожесточенной классовой борьбы, — и для общества, еще и не нюхавшего демократических учреждений, вчера лишь вышедшего из пеленок абсолютистской опеки, еще не изжившего традиций вотчинной монархии и крепостного права. Для трудящихся — отдаленных потомков тех санкюлотов, которые брали Бастилию — и для трудящихся, отцы которых еще продавались на рынке, как рабочий скот, демократия является одинаково путами на ногах в момент революционного строительства, для тех и других одинаково она должна быть уничтожена для того, чтобы дело социального освобождения могло свершиться.

Короче говоря, в апологии русской революционной диктатуры у Клары Цеткин не чувствуется дыханья той конкретной русской действительности, на почве которой эта диктатура выросла и функционирует. Возведенная же в ранг общей нормы для социалистической революции пролетариата, эта диктатура ею расценивается с точки зрения задач, перед которыми будет поставлен победоносный пролетариат в передовых странах. Допустим, что К. Цеткин права и что для осуществления этих задач диктатура, отрицающая демократию, явится в Германии или Англии необходимым и спасительным средством социальной революции. Это еще ни на иоту не свидетельствовало бы о таких же благотворных результатах диктатуры для революции, которую переживает Россия. И обратно: допустив, что К. Цеткин блестяще доказала необходимость и прогрессивность данной конкретной диктатуры в современной России, мы еще не имели бы никакого основания заключать, что эта диктатура и ее формы (Советы, красный террор и т. д.) являются необходимыми и прогрессивными в странах, отличающихся совершенно иным, чем Россия, составом населения, иным соотношением общественных сил, иной ролью пролетариата в национальном хозяйстве.

При таком, по существу идеалистическом, подходе к вопросу о взаимоотношении между демократией и диктатурой, статья Клары Цеткин, при всей ее внешней талантливости, не дает никаких элементов для выяснения этого вопроса.

Конкретное изучение социальной природы русской революционной диктатуры, внутренней логики ее развития и достигнутых ею результатов, не может быть заменено ни красноречивой апологией, ни, разумеется, красноречивым обвинительным актом.

II.

Большевистская диктатура в России возникла, как результат непримиримого противоречия между задачами, которые ставила себе часть пролетариата, и об'ективными экономическими условиями и социальными отношениями отсталой страны. На ранней ступени своего классового развития пролетариат всюду считает возможным немедленно осуществить путем захвата власти социалистический переворот, независимо от достигнутой обществом высоты развития производительных сил. Через трудности, которые социалистическому преобразованию ставятся об'ективной действительностью, он думает перейти средствами твердой власти, беспощадного насилия.

Что значительная часть российского пролетариата, несмотря на 25-летнюю работу марксистов, стояла в 1917 году на этом уровне политического развития, — в этом нет, конечно, ничего удивительного. Также мало и в том, что нашлась проходившая марксистскую школу партия, взявшая на себя задачу стать выразительницей этих утопических чаяний пролетарских масс. Ясно, однако, что нужно было особенное, необычное сплетение социально-экономических и политических моментов в историческом развитии, чтобы революционная диктатура с такими заданиями могла воплотиться в жизнь и не остаться лишь эпизодическим событием, а наложить печать на весь ход российской революции.

Мы знаем эти моменты. Хозяйственная разруха, порожденная всемирной войной и приведшая к заполнению городов оторванными от производства голодными массами; наводнение фабрик деклассированными элементами деревни и городского мещанства; кабальная зависимость отсталого экономического развития России от империалистических держав, сковавшее внутреннее развитие буржуазной революции; неспособность буржуазии, даже самой радикальной, решительно поставить основные вопросы этой революции—аграр-

ный, национальный и вопрос мира — и тем сплотить вокруг себя громадное непролетарское большинство населения; разложение царского милитаризма и образование из крестьянской армии громадной боевой силы, способной и склонной поддержать всякую крайнюю революционную партию действия и т. д., все эти моменты достаточно об'ясняют, почему такой социологический парадокс, как коммунистическое правительство в стране, наполовину погрязшей в азиатских социальных отношениях, стал возможен, не как мимолетный эпизод, а как подлинный этап исторического развития.

Но законы экономического развития, говорит Маркс, не могут быть „устранены декретами". Экономическая действительность всегда мстит за себя, заполняя своим содержанием те формы, которыми ее пытается обойти „критическая мысль" утопистов. Экономическая отсталость России отчасти выразилась в том, что класс, на котором держится все народное хозяйство — крестьяне-собственники — оказался бессилен помешать проводимым с фанатической энергией экспериментам социалистического характера. Но эта экономическая действительность мстит за себя, поскольку своим непреодолимым стихийным сопротивлением изменяет линию идущего сверху политического воздействия, искажая и извращая все проводимые диктатурой преобразования, осуждая на мертворожденность одни, заполняя прямо противоположным содержанием другие.

Как в свое время категорически утверждал Н. Ленин, активная тенденция развития русского крестьянства влечет его не к социализму, а к мелкобуржуазному хозяйству. Этого основного факта экономической действительности нельзя устранить ни декретами, ни террором. Но декретами и террором нельзя также устранить и другого основного факта, — что и городское полу-пролетарское население, и значительные слои, связанных с ним или с деревней пролетариев, и столь важная для всякого социального строительства профессиональная интеллигенция тяготеют не к социалистической организации хозяйства, а к укреплению своих позиций в хозяйстве товарно-капиталистическом. Для перехода всех этих слоев, включая и крестьян, на почву пролетарского социализма, необходимо, чтобы социалистический пролетариат на практике показал неоспоримые преимущества социалистического хозяйства над частно-капиталистическим, разбивая примером мещанские, индивидуалистические

традиции и предрассудки. Но, чтобы эта пропаганда примером была действительной, необходим *успех* социалистических преобразований, осуществляемых сверху захватившим власть меньшинством. А так как грандиозная задача социалистического преобразования бесконечно превышает, — и именно в силу экономической действительности, — наличные силы этого меньшинства; так как для своего выполнения она требует максимальной сознательной самодеятельности, инициативы и в то же время добровольной дисциплины всех участвующих в процессе преобразования масс, то получается заколдованный круг, из которого не может быть выхода. Ибо логика положения вынуждает партию, захватывающую власть, стремиться в борьбе за свое существование не развивать, а, напротив, стеснять ее, сковывать эту самодеятельность и инициативу масс.

На заре большевистского этапа нашей революции коммунисты, напротив, все свои планы строили именно на максимальной самодеятельности производителей и потребителей в деле экономического и политического строительства. Власть Советов понималась и рекомендовалась, как „высшая, наиболее совершенная форма [illegible]мократии“, уничтожающая в корне бюрократическое с[illegible]ние между государством и народом и позволяющая каждому рабочему и крестьянину непосредственно принимать участие в деле управления. Всеобщее народное вооружение должно было служить материальной основой этого самодеятельного участия граждан в управлении. Многие ли еще помнят о том, что Н. Ленин даже функцию *полиции* хотел сделать „всенародным“ делом, чтобы она отправлялась всеми гражданами [1])?

Равным образом, в области экономической, „рабочий контроль“ должен был обеспечить участие самой рабочей массы в ведении производства; железные дороги, почта и

[1]) „Чтобы не дать восстановить полицию, — писал он, — есть только одно средство: создание всенародной милиции, слияние ее с армией (замена постоянной армии всеобщим вооружением народа). В такой милиции должны участвовать поголовно все граждане и гражданки от 15 до 65 лет“ („Задачи пролетариата в нашей революции“, сентябрь 1917 г.). Сопоставьте с этим недавнее совещание московских властей о консолидации *наемной* милиции в подлинную дисциплинированную полицию с доведением ее состава до 7.500 человек, об освобождении милиционеров от воинской повинности и т. д., а также образование „отдельного корпуса“ вооруженной стражи, подчиненного чрезвычайным комиссиям.

телеграф должны были совершенно автономно управляться железнодорожниками и почтарями и т. д. и т. д.

Все эти мечты, возникшие на заре туманной юности, были опровергнуты суровой действительностью. Анархо-синдикалистские представления о власти советов и рабочем контроле, предполагавшие самую широкую, хотя и хаотическую, самодеятельность трудящихся города и деревни, столкнулись с требованиями и политики и экономики и воплотились на практике в собственную противоположность. Якобинско-бюрократические формы и методы одержали легкую победу над анархическими. Оказалось, что коммунистическое меньшинство не может управлять государством, опираясь на какую-нибудь демократическую самодеятельность масс. Не только демократия всеобщего избирательного права, но и демократия Советов встает поперек дороги тем задачам, которые ставит себе коммунистическое меньшинство. Борьба с независимостью городских (рабочих) Советов всем известна; она кончилась тем, что реальная власть все более перемещается от Советов и их исполкомов к агентам центральной власти. Как раз теперь мы присутствуем при борьбе исполкомов с Всероссийской Чрезвычайной Комиссией, сделавшей местные комиссии своими агентами, и слышим от самих большевиков заявления о том, что „всю власть Советам“ действительность расшифровывает, как „вся власть чрезвычайкам“. В деревне уездные и волостные совдепы ликвидируются, как „кулацкие“, их функции власти переходят к „комитетам бедноты“, которые, в свою очередь, имеют тенденцию стать ширмой для ячеек коммунистической партии и органами чрезвычайных комиссий.

В экономической области точно также анархический „рабочий контроль“ сменился иерархическим управлением фабрик и их подчинением центральным хозяйственным органам.

Эта замена анархического коммунизма государственным совершалась отчасти под влиянием элементарных потребностей современной хозяйственной жизни, властно требующих централизации и несовместимых с „анархией по Прудону“. Постольку она была выражением здоровых стремлений, вырабатываемых капитализмом в пролетариате крупной промышленности. Но в то же время ее движущей силой было отсутствие в трудящихся массах вообще, в пролетариате в частности, тех навыков и способностей к самоуправлению и

коллективной инициативе, которые не могут быть ни созданы декретами, ни вызваны к жизни одним фактом перехода власти к народным низам и которые вырабатываются лишь достаточно длительной школой организованной классовой борьбы и участия в демократических учреждениях. Те трудящиеся массы, на которые могла опереться большевистская власть, не умели справиться ни с государственным управлением, ни с делом продовольствия, ни с организацией производства, и их анархическая самодеятельность в этих областях вела лишь к расхищению общественного богатства, к дезорганизации хозяйства, к хищническому удовлетворению частных групповых и личных интересов за счет целого. Те же слои трудящихся, которые своим прошлым и своим культурным уровнем наиболее подготовлены к тому, чтобы с этими задачами справиться, фатально оказывались в антагонизме с господствующей партией не только потому, что не могли уверовать в те утопические планы, которые она проводила, но и потому, что предпосылкой плодотворного развития их собственной самодеятельности является та почва демократического самоуправления, контроля и гласности, которая отрицается в корне господствующей партией. Поэтому последняя, лишившись возможности опираться на наиболее культурные и способные к коллективному творчеству слои трудящихся в своих попытках социалистического преобразования, начала с механического отстранения их от всех функций общественного творчества (изгнание из Советов, из правлений профессиональных союзов, из фабрично-заводских комитетов), чтобы кончить уничтожением тех общественных организаций, которые этими слоями были самостоятельно созданы или выращены и которые, по представлениям всех теоретиков социализма, должны были служить главными подсобными орудиями государства в деле устроения социализма (рабочие и крестьянские кооперативы, больничные кассы, союзы и т. п.).

А поскольку на смену анархической самодеятельности масс, не совместимой с поддержанием централизованного государственного аппарата, не могла, таким образом, стать самодеятельность организованная, ставящая на сознательное служение обществу наиболее культурные, выдержанные, подлающиеся добровольной дисциплине и способные к инициативе элементы рабочего класса — постольку преодоление советским строем его первоначальных анархических форм

неизбежно совершалось в виде *роста бюрократии за счет демократии.* Основная черта всякой бюрократической системы—полное отчуждение функций руководства и управления от функции работы и концентрации первых в верхушке государственной пирамиды—развивается в советском строе с ужасающим темпом, и еще быстрее растут число колес бюрократической машины и численность бюрократической рати. Уездный город, о котором мне сообщали, и в котором на тысячу с чем-то жителей не менее 300 в той или иной форме числится среди „советских служащих“, не должен быть единственным в советской России. Чем распыленнее остаются трудящиеся массы,—а упразднение демократии, всеобщего избирательного права и вытравление демократизма из советского строя делают неизбежным их распыление,—тем более приходится необъятные государственные функции, связанные с социальным переворотом, передавать всецело этой бюрократической рати и тем более самую эту рать приходится строить по завещанному историей всех классовых государств образцу. В результате—какой иронией звучат ныне, к годичному юбилею советской республики, слова Н. Ленина о „полной выборности и сменяемости в любое время всех без из'ятия должностных лиц“, которую он провозглашал краеугольным камнем пролетарского режима [1]). Какой горькой насмешкой звучат повторяемые им в той же брошюре слова Маркса о Коммуне, которая „сделала правдой лозунг всех буржуазных революций—дешевое правительство“ и которая завещала советской республике эту задачу. И как далеко мы ушли от того времени, когда тот же автор восклицал: „Выход из парламентаризма, конечно, не в уничтожении представительных учреждений и выборности, а в превращении представительных учреждений из говорилен в „работающие“ учреждения“... без представительных учреждений мы не можем представить себе демократии, даже и пролетарской [2]).

Ныне роль представительных учреждений сведена к тем пределам, когда их подотчетным органам—исполкомам—„самоопределившиеся“ чрезвычайные комиссии соглашаются предоставить одно лишь право голоса в вопросе о расстреле их собственных членов. О выборности не только „всех без

[1]) „Государство и революция“, стр. 41
[2]) Там же, стр. 45.

нал'ятия должностных лиц“, но и хоть каких-нибудь ответственных администраторов, нет и речи [1]); то же и с их сменяемостью в любое время. Что же касается „дешевизны“, то нет никакого сомнения в том, что нынешний строй является идеалом „дорогого правительства“ и превзошел все, когда-либо бывшие государственные системы не только по абсолютной сумме расходов на бюрократию, но и—что гораздо печальнее—по отношению этой суммы к действительной производительности страны.

III.

Выросшая на почве распыленности масс, воспитанной всею русской историей, бюрократическая диктатура сама является фактором, усугубляющим и укрепляющим эту распыленность, эту неспособность к организованной коллективной самодеятельности. Тем самым она становится поперек дороги тем широким социально-революционным задачам, во имя которых она создана. Ибо даже при наличности высоко развитого капитализма переход к социалистическому строю требует максимального развития способности трудящегося к самоорганизации, к участию в общественном контроле, требует одновременно значительной личной инициативы и добровольно наложенной дисциплины. Можно, поэтому, с уверенностью сказать, что даже в обществе, во всех отношениях подготовленном к социалистическому перевороту, всякая форма классовой диктатуры пролетариата, отвергающая демократизм, оказалась бы в резком противоречии с поставленными ею себе социальными задачами. Ее основная задача—ускоренное развитие колоссальных общественных производительных сил, созданных капитализмом, требующих по самой своей природе такой кооперации трудящихся, которая не может ни функционировать, ни существовать, если вся она не пропитана демократизмом сверху донизу.

И, однако, это бюрократическое вырождение диктатуры имело свой вполне определенный смысл, поскольку оно одно

[1]) В вульгарных буржуазных демократиях выбор не парламентами и муниципалитетами, а всеми гражданами судей, школьных советов, органов призрения, фабричных инспекторов, даже губернаторов (Соединенные Штаты), не является редкостью.

только позволяло носителям диктатуры лавировать между теми разнородными, неспаянными единством классового интереса слоями народа, которых представителями они стремились быть.

Вся политика советской власти за год представляет собой не что иное, как постоянное перемещение главной точки своей опоры в тех низших классах, коллективную диктатуру которых она стремится выразить.

Первоначально эта власть, идейно связанная с максималистски-настроенными частями пролетариата, находит эту точку опоры преимущественно в солдатских массах и с наибольшей рельефностью выражает их специфические стремления, настроения и интересы. Индивидуалистические инстинкты стяжания, анархические стремления масс, оторванных войной от всякого участия в народном хозяйстве и чувствующих себя *только* потребителями, направляют в значительной мере первые шаги советской власти прямо в разрез с социалистической задачей организации народного хозяйства.

Следующим этапом является ориентация на крестьянство, как целое, класс мелких собственников. Борьба против Учредительного Собрания и за проведение сепаратного мира вынуждает искать здесь наиболее широкой опоры. Ценою принятия аграрной программы левых эс-эров, стало быть, фактического отказа от *государственного регулирования* перетасовки земельной собственности и санкционирования *местных* захватов, большевизм приобретает поддержку крестьянских масс, ценой подписания Брестского мира отрывает эти массы от левых эс-эров. В этот период влияние интересов крестьянской мелкой буржуазии на советскую политику решительно преобладает над влиянием интересов пролетариата. Задача отделения сельского пролетариата от сельских хозяев—образование „батрацких советов"—совершенно забыта, мысль о снабжении пролетаризированных крестьян „живым и мертвым инвентарем" брошена; городские пролетарские советы лишены самостоятельности и всецело подчинены губернским, то-есть пролетариат растворен в крестьянстве. Тогда-то советская власть выступает в роли выразителя той потребности деревенской мелкой буржуазии, которую последняя стремилась удовлетворить еще в первые дни февральской революции: потребности „подтянуть" труд городского пролетариата, лишить его положения привиле-

гированного детища революции. Советская власть объявляет войну „лодырничеству“, провозглашает лозунг хозяйственности, интенсивного труда, экономии, отыскивает местопребывание своего смертельного врага—„мещанина“—в душе городского пролетария [1]), ищет попыток компромисса с буржуазной интеллигенцией и даже с капиталом.

Однако, отлив рабочих масс от большевизма, вызванный, конечно, не этим уклонением политики, но им усиливаемый, останавливает этот процесс приспособления власти к основной крестьянской революционной стихии. Не имея, благодаря хозяйственной разрухе, усугубленной Брестским миром, никаких средств удержать рабочий класс упрочением его положения, как производителя, советская власть ищет удовлетворения его обострившихся нужд, как потребителя. Эта забота вынуждает к крутой перемене фронта. Деревне, с которой власть оказалась не в состоянии организовать правильный товарообмен, об'явлена война, против нее организуется „крестовый поход“ городов. Ее сопротивление разбивается организацией „беднейшего“ крестьянства, т.-е. „безхозяйственного“ против хозяйственного, просто „трудового“ крестьянства. Вчерашний главный враг советской республики—„лодырь“—об'является столпом ее, и за непочтительный отзыв о лодыре Б. Камков попадает в контр-революционеры. Деклассированные, отбившиеся от самостоятельного хозяйствования, но не приобревшие навыков к коллективному производству, элементы деревни становятся проводниками революционной диктатуры.

Но переход на точку зрения пролетария, как потребителя, не мог остановиться на этом. Возрождение городской промышленности или хотя бы только остановка ее развала оказываются не под силу бюрократизированному аппарату диктатуры, и, соответственно этому, забота о непосредственном насыщении теряющей связь с производством городской бедноты становится главной заботой власти, как во времена римских цезарей. Экономическая политика все больше от линии развития производительных сил уклоняется в сторону более или менее равномерного распределения все оскудевающего национального дохода и даже все более истощающихся, ранее накопленных, имущественных благ. Соответственно этому, пролетарий-работник все более оттесняется

[1]) Ст. Ленина в „Известиях“ от 26 апреля 1918 г.

от влияния на ход политики люмпен-пролетарием. На этой стадии центральными задачами дня становятся раздел шуб и мебели, „вселение“ бедняков в квартиры и т. под. меры „потребительского коммунизма“, которые на деле направлены своим острием не столько против капиталистических классов, сколько против средних промежуточных слоев общества, отнюдь не паразитических и выполняющих в нем необходимые функции. В то время, как Радеки пытаются обосновать это направление социального творчества „стратегической необходимостью“ борьбы с политическими противниками пролетариата, средний коммунист находит в писаниях Ленина, Бухарина и теоретиков чрезвычайных комиссий подтверждение своей глубокой веры в то, что „коммунизм потребления“ есть необходимое дополнение к коммунизму производства.

Уклон советской политики в сторону потребительского коммунизма совершается тем более неудержимо, чем быстрее растет организуемая диктатурой бюрократическая рать—эта все размножающаяся армия „чистых“ потребителей, ничего не производящих. Интересы этой бюрократической армии, как таковой, как особого общественного слоя, все более давят на политику советской власти и определяют ее. Само дальнейшее бюрократизирование общества сплошь и рядом происходит под давлением потребности этой армии в саморазмножении. Если, например, упраздняются общественные продовольственные организации, свободные кооперативы, больничные кассы и функции всех этих учреждений передаются новым кадрам чиновников, то немалую роль в этих „реформах“ играет давление беспрерывно возрастающей армии „сторонников советской власти“, которых необходимо пристроить в аппарате диктатуры.

Ибо громадный социальный сдвиг, совершенный революцией в октябре 1917 года и вынесший на поверхность общественной жизни широкие народные низы, открыл перед этими низами—благодаря экономическому развалу и неспособности диктатуры справиться с ним—один лишь выход к лучшему социальному положению—именно занять место в бюрократии. То, что происходит в мирное время в тех земледельческих странах, где, благодаря вялому темпу капиталистического различия, масса крестьянских и мещанских сыновей, не находящих себе места в промышленности и свободных профессиях, заполняют собой кадры бюрократии,—

то же, на фоне революции, происходит сейчас в России. Чем глубже большевистский переворот всколыхнул низы городского населения и чем больше он придал этим низам веры в свои силы (это безусловная его историческая заслуга), тем более неисчерпаемым становится тот резервуар, из которого беспрестанно выходят и толкаются в закрытые двери кандидаты в чиновники революционной власти. В буржуазных государствах имущественный и образовательный ценз регулирует этот наплыв претендентов на пользование национальным доходом. В стране, переживающей революцию, он неограничен ничем, кроме гибкого ценза политической благонадежности, готовности поддерживать власть. Чем более суживаются каналы свободной общественной деятельности, тем более ненаходящая себе места в производстве масса напирает на государственную машину.

Не может быть никакого сомнения в том, что если приобревший землю крестьянин явится, несмотря на все производимые ныне над ними эксперименты, краеугольным камнем буржуазной экономики России по завершении революции, то многочисленные, вышколенные революционным правительством и оторванные им от воспитавших их социальных низов, новые кадры бюрократов положат в будущем основание той городской мелкой буржуазии, без наличности которой капитализм не может себе подчинить всего народного хозяйства.

Таким образом, революционная диктатура, в тех конкретных формах, в которые она только и могла вылиться при данных общественных условиях, объективно явится тем хирургическим ножем, при помощи которого история, с наибольшей затратой крови и сил, извлекает из недр старой сословной монархии современное буржуазное общество.

IV.

Однако, какова бы она ни была, эта революционная диктатура есть факт и самая длительность ее свидетельствует о том, что при данном соотношении общественных сил революция не могла пойти мимо нее. Между тем, ставши фактом, эта диктатура, порожденная силами буржуазной революции, развивается под знаменем социализма и в таком именно виде выступает на международной арене, естественно

становясь центром, к которому тяготеют все революционные движения в других странах и который сосредоточивает на себе ненависть всех консервативных сил.

Из этого положения вытекает не только готовность революционных пролетариев всего мира отстаивать и защищать проявляющуюся в советской республике русскую революцию от напирающей на нее всемирной контр-революции, но и склонность значительной части этих пролетариев свое собственное возникающее революционное движение вводить в русло политических форм, методов и лозунгов, примененных в России большевизмом. Русские коммунисты имеют уже основание говорить о „мировом большевизме“ не только как о псевдониме вставшего перед имущими классами Европы призрака социальной революции вообще, но и как о сильном течении, сказывающемся внутри рабочего движения многих стран.

Большевизм бесспорно импонирует многим и многим западно-европейским социалистам не только, как факт победоносной революции, но и как показавшая себя на деле система методов и форм классовой борьбы. Клара Цеткин, Ф. Меринг и другие видные социалисты готовы на своем знамени написать лозунг анти-демократической диктатуры и „советской республики“, ее воплощающей.

Значит ли это, как склонны думать многие, что „мировое развитие ведет мимо демократии“, что и впрямь наша отсталая страна гениальной интуицией открыла те формы, в которых суждено развиваться процессу социального освобождения мирового пролетариата?

Как ни глубоко отличен социальный строй России от социального строя передовых капиталистических стран, имеются значительные черты сходства между тем положением, в котором возникла российская революция, и тем, которое подготовляет революционные потрясения в этих странах. Выше мы коснулись этих черт. Крайнее хозяйственное истощение, перевод значительной части трудящихся на положение оторванных от производства потребителей (армия), заполнение промышленности новыми массами, не прошедшими школы классовой борьбы. Если, что более, чем вероятно, в революционных движениях западных стран активную роль сыграют солдаты разложившихся армий, представляющие неспаянную единым классовым интересом массу, то весьма вероятно, что формы, в которые выльется революционный

процесс, и тенденции, которые он обнаружит, будут во многом сходны с наблюдаемыми в России.

Сюда присоединяется то громадное значение, которое имел для пролетариата Европы крах Интернационала. Участие значительной части обученных и организованных кадров рабочего класса в империалистской войне под знаменем классового мира, раскол внутри рабочих партий, утрата всякого авторитета старыми вождями и организациями, все это само по себе в высшей степени содействует тому, чтобы в новом подъеме ослабить влияние воспитанных десятилетиями борьбы социалистических традиций. А так как в подлинной революции, вообще, на авансцену выдвигаются массы, которые в мирное время стояли вне организованной борьбы и внезапно брошены в движение социальным катаклизмом, то имеются все основания ожидать, что стихийность будет порой подавлять сознательную борьбу за новый строй; что анархические, бунтарские, люмпенско-потребительские тенденции будут оказывать влияние на революционный процесс в целом.

Постольку притягательный пример русского большевизма не останется, вероятно, без подражания. И несомненным симптомом этого является отмеченная выше тяга иных европейских социалистов к теориям и тактике большевиков.

Не невозможно, поэтому, что попытка строить власть пролетариата не на демократии, а на анти-демократической диктатуре, будет иметь место и в других странах. Не исключена возможность и того, что эти попытки в отдельных странах увенчаются успехом.

Исключена возможность только одного: чтобы в формах большевизма и его методами пролетариат мог где-либо осуществить свою революционную задачу: удержать за собою власть и организовать социалистическое производство.

Еще менее, чем отсталое, народное хозяйство России, может быть хозяйство капиталистической страны охвачено и преобразовано пролетариатом без того, чтобы он развил в себе все, накопленные его прошлой борьбой, способности к инициативе, самодеятельности, общественному контролю. А всякое отступление от пути демократии препятствует развитию этих свойств.

Поэтому, в какие бы формы ни выливалось в процессе классовой борьбы с буржуазией и в процессе взаимного

трения различных слоев трудящихся завоевание ими политической власти, подлинный классовый интерес пролетариата будет властно требовать неограниченной демократии, как незаменимого рычага его социального освобождения. Если влияние новых революционных масс и непреодолимых объективных условий приведет в той или иной стране к торжеству большевистских форм и методов, их внутренняя противоречивость и ограниченность перед лицом поставленных пролетариату историей задач будет властно требовать выпрямления линии революционного развития. Мощность тех экономических сил, которые переймет пролетариат передовых стран из рук буржуазии, его высокий культурный уровень и воспитанные прошлой его борьбой демократические традиции являются порукой в том, что, в конце концов, он выйдет на единственный путь, могущий привести к построению нового общества.

Мировое развитие идет через демократию, как предпосылку социализма, хотя бы на пути к ней оно и задерживалось на промежуточных этапах революции.

Но задачей марксистов является, как говорили наши учителя, на всех этапах развития пролетариата отстаивать интересы его движения в целом, его завтрашний день, в случае надобности, против его сегодняшнего дня, и тем ускорять наступление завтрашнего дня.

Выясняя пролетариату элементарные условия его освобождения, к числу которых принадлежит завоевание неограниченной демократии, как наиболее верного средства подавления его классовых врагов и укрепления нового строя производства, марксисты выполняют свой долг, поскольку способствуют сокращению мучительного пути опыта, которым втянутые в революционный процесс массы приходят к пониманию целесообразных форм и методов своей борьбы.

Таким образом, политическая борьба, ведущаяся в России, вокруг вопроса о революционной диктатуре, имеет громадное значение и для возникающих революционных движений на Западе. Борьба против возрожденного социалистического утопизма, против якобинских и анархо-коммунистических тенденций является со стороны русских марксистов выполнением их долга международной солидарности по отношению к социалистическому авангарду западно-европейского пролетариата,—когда и поскольку эта борьба ведется во имя и в духе революционного марксизма; когда и поскольку она

стремится увлечь пролетариат от большевизма вперед—к действительному социализму; когда и поскольку она не сбивается на социал-реформистскую реакцию против анархического бунтарства, не ищет в оппортунистическом „примирении классов" выхода из искаженной утопизмом борьбы классов и не становится спиной к тому всемирно-революционному процессу, который, как в кривом зеркале, отображается в диких и несуразных явлениях отечественной революции.

Л. Мартов.

Советский строй.

I.

Судьбы Советов, ставших со времени октябрьского переворота органами „социалистической власти", потенциально таились уже в положении и ходе развития Советов до 25 октября.

Выдвинутые на арену политической жизни с самого начала февральской революции, Советы, по своему социальному составу, отражали ее главную движущую силу. Будучи продуктом военного поражения царской России, февральская революция восторжествовала, как *солдатская*, благодаря поддержке единственной тогда массовой организованной, при том вооруженной, силы—армии. Это сразу выдвинуло, в качестве решающей силы революции, крестьянскую по своему социальному происхождению, политически и культурно незрелую солдатскую массу.

Пролетариат, бывший застрельщиком революционного движения в февральские дни, скоро был отодвинут на второй план и постепенно растворился в крестьянско-солдатской стихии. Выразителем революции 1917 г. сделался Совет Рабочих и Солдатских Депутатов—с подавляющим перевесом *солдатчины*—в отличие от революции 1905 г., знавшей только Советы *Рабочих* Депутатов.

Между тем историческая обстановка, в которой родилась революция 1917 г.—с ее широким размахом, с ее глубокой демократизацией строя, вызванной катастрофическим крушением царизма, с ее необходимостью ликвидировать империа-

листическую войну и связанную с нею необычайную хозяйственную разруху,—ставила перед органами революции огромной трудности и важности политические и социальные задачи, каких не знала не только революция 1905 года, но и *ни одна* вообще из прошлых буржуазных революций.

Уже это сочетание незрелой крестьянско-солдатской массы с колоссальной сложностью задач, выдвинутых революцией, осуждало ее на болезненный ход развития. Заполнившая Советы Депутатов солдатчина внесла в их деятельность все черты психологии крестьянской массы, к тому же еще измученной ужасами затяжной войны,—бунтарские, антиобщественные инстинкты, узкий кругозор деревенского мелкого собственника, отсутствие политической устойчивости и самостоятельности, привычку полагаться не на свою общественную самодеятельность, а ожидать помощи извне:—„барин приедет,—барин нас рассудит“.

В такой обстановке, опираясь на Советы, вело свою политику сначала чисто-буржуазное, а затем и коалиционное правительство Керенского. И когда именно эта обстановка сделала возможными все ошибки и грехи обоих правительств, когда политика затяжки войны нашла свое завершение в роковом наступлении 18 июня, когда за 8 месяцев революционная власть не сделала ни одного решительного шага вперед для решения земельного вопроса, для урегулирования финансово-экономической жизни страны, для устранения продовольственной разрухи, для демократической организации на местах и скорого созыва Учредительного Собрания, от которого крестьянство ожидало решения вопроса о земле,—в кругах солдатских и рабочих депутатов постепенно накипело глубокое недовольство, озлобление.

Ярко разгораются анархические инстинкты. Болезненно нарастает жажда немедленного мира во что бы то ни стало. Рост озлобления против прежнего „барина“—Керенского—влечет за собою увеличение веры в нового большевистского „барина“. А он уже давно настаивает на немедленном мире, на его достижении анархическими методами, доступными разобществленному умонастроению крестьянско-солдатской массы.

Создается благодарная почва для усвоения всей бланкистской программы большевизма—вплоть до „социализма“. Это тем более, что неспособность капиталистических кругов идти по пути решительных мер борьбы с экономической разрухой как бы насильно навязывала трудящимся массам

ведение этой борьбы *своими* средствами. А для этих масс такая борьба с психологической неизбежностью превращалась в попытку радикального социалистического решения вопроса. Чтобы оценить меру *реально осуществимого*, требовалась такая степень сознательности, которой не могло быть и у нашего пролетариата—особенно при том его составе, который сложился во время войны, когда он на 2/3 был разбавлен деревенскими элементами. Конечно, при данных условиях мог сложиться социализм только в смысле уравнительной справедливости дележки, столь любезной сердцу мелкого собственника. И меньше всего препятствий встречает в этой среде лозунг передачи всей власти в руки рабоче-солдатских Советов.

Так назрел и осуществился октябрьский переворот. Советы были провозглашены органами власти и носителями идеи диктатуры пролетариата.

Выросши из такой почвы, октябрьский переворот, хотя и произведенный не непосредственной активной борьбой масс, а методами восстания небольших вооруженных групп, был сравнительно быстро принят и поддержан широкими кругами трудящихся—особенно Советами при их наличном социальном составе.

Да и *объективно* режим, установившийся в результате переворота, при всех его огромных дефектах и внутренних противоречиях, оказался единственным исторически возможным, при данных условиях, способом двинуть в общем революцию вперед. Он устранил препятствия к решительной постановке аграрного вопроса, к регулированию хозяйственной жизни в направлении интересов трудящихся масс. Он покончил с зависимостью внешней политики революционной демократии России от вожделений империализма союзников. Он открыто и радикально выдвинул требование мира,—и этим не только устранил гибельное для революции России влияние факта ее участие в империалистической войне, но и пробил серьезную брешь в системе „священного единения“, державшей в общем народные массы всех стран в положении покорных рабов воинствующего им алезма.

Таковы были шаги нового режима, установившегося после октябрьского переворота в виде „власти Советов“. Конечно, если, с одной стороны, этой политикой почва российской революции была освобождена от того, что мешало революции двигаться вперед, то, с другой стороны, на расчищенной почве новая политика нагромождала, как мы увидим, ряд

новых ошибок, создававших новые трудности и препятствия для положительного решения очередных задач, поставленных демократической революцией.

И, если политика Советского режима окончательно освободила трудящиеся массы от подчинения интересам капиталистических классов, которые—в условиях империалистической войны, радикального крушения старого строя и демократического размаха революции—очень скоро были охвачены контр-революционными тенденциями, то та же политика оттолкнула от Советов некоторые слои городской и сельской—особенно непролетарской—демократии. Эти слои—в особенности представляющие их *партии* народных социалистов и социалистов-революционеров—были отброшены в русло политики, расходящейся с рабочим классом, направленной *против* него. Они стали искать сближения с капиталистическими элементами внутри России, искать опоры в оружии империалистических сил союзных стран.

Но это положение на ближайшее время только закрепило новую ориентацию Советов, только упрочило их подчинение большевизму. Если в первое время после октябрьского переворота многим представлялось, что торжество большевизма не может длиться дольше пары месяцев и ведет непосредственно к победе бонапартизма контр-революционных военных кругов, то в дальнейшем та новая ориентация партий, представляющих мелко буржуазную демократию, которая вызвана была направлением политики советской власти, выдвинула перспективу бонапартистской опасности, грозящей с *другой* стороны—со стороны тех сил, в которых эти партии ищут и находят себе опору в борьбе с советским режимом.

При таких условиях ушла почва из-под ног тех, кто видел выход в объединении демократии „от энесов до большевиков". В глазах рабочих и других масс, примыкавших к Советам, благодаря этому, большевистский лагерь еще больше стал вырисовываться в роли *единственного* защитника революции.

Для самой революции это новое положение означало, конечно, сужение ее социальной базы. Но все же нельзя отрицать, что политика Советов, в общем, сдвинула русскую революцию с мертвой точки и не только упрочила положение самих Советов, но и *сделала невозможной реставрацию царизма*, решительно вырвав и разрушив ряд социальных корней старого строя.

II.

Сам по себе институт Советов—выражение нашей политической *отсталости*, слабости *массового* состава наших профессиональных организаций и политических партий,—в частности партии рабочего класса. Их-то и замещают Советы Депутатов. Уже в этом факте коренится неспособность Советов быть органами диктатуры пролетариата. В аналогичных условиях последнее восстание рабочих в *Финляндии* обходилось без Советов Депутатов. Вызываемые ныне кризисом четырехлетней мировой войны, революционное брожение масс в *Западной Европе* также находит себе другие русла: там, где делаются на западе попытки образования Советов рабочих и солдатских депутатов, они носят явно *подражательный* характер и, повидимому, лишь поверхностно прививаются к жизни, представляя собою лишь явление преходящее.

С другой стороны, Советы Депутатов—выразители глубокого *социального* содержания нашей демократической революции, совершающейся в условиях сильно развитых социальных антагонизмов, сильно запоздавшего процесса политического раскрепощения народных масс. Революция 1905 г., по исторической обстановке поставленная перед относительно более узкими и простыми непосредственными задачами, имела Советы лишь, как короткий эпизод,—при том уже в период *нисходящей* линии своего развития.

Вызванная и осложненная кризисом мировой войны, наша революция 1917 г. выдвинула Советы Рабочих и Солдатских Депутатов уже, как существенный ингредиент, как *неот'емлемую* особенность свою. Если бы революционная демократия *сейчас же* после февральского переворота сумела ликвидировать войну и принялась энергично за разрешение очередных политических и социальных задач,—возможен был бы скорый переход к Советам *Рабочих* Депутатов из представителей передовых слоев пролетариата, по крайней мере, во всех крупных городах. А при быстрой организации созыва Учредительного Собрания Советы могли бы, если не уступить место, то предоставить первенство общедемократическому представительству народа, где крестьянство было бы численно преобладающим, но где политическая гегемония

в классовой борьбе против помещичье-капиталистического буржуазного меньшинства принадлежала бы городской, особенно—пролетарской демократии.

При таких условиях установилось бы единство революционно-демократического фронта, с преобладанием его *городских* элементов. Тогда не было бы исторической необходимости в переходе *власти* к Советам. Они остались бы контролирующим и направляющим органом, опорной базой единой революционной демократии.

Но, как мы уже сказали, события *неизбежно* приняли другое направление. Затяжная война окрасила все в военный цвет. Солдатско-крестьянская масса, как стихия, захлестнула все. На фоне общего экономического и морального разложения водворилось торжество преторианских сил, с их противообщественными, центробежными устремлениями. Создалась почва для усвоения эгалитарных идей коммунизма потребления, подставляемого на место социализма, как системы рациональной организации производственных отношений. Социал-демократия, как революционная выразительница классовых интересов пролетариата, была поставлена в трагическое положение.

Временное Правительство, в течение 8 месяцев поддерживаемое неустойчивой стихией отсталых масс, не оценило глубокого изменения, которое его же политика успела вызвать в настроении этих масс. В нем произошел уже решительный сдвиг. Он обеспечивал успех тому течению, которое менее стеснено было революционным реализмом и пролетарско-классовой идеологией—тому течению, которое отличалось податливостью бунтарско-крестьянской стихии, торжествующей над ним в то самое время, когда она видимо целиком подчиняется ему.

III.

А ведь *некоторое* понимание язв больной революции и вызываемых ими опасностей было не совсем чуждо и самим представителям этого течения—*до* октябрьского захвата власти большевиками, когда они еще были только оппозицией.

На Демократическом Совещании они в своей декларации говорили о необходимости „мобилизовать все научно-подготовленные, технически-ценные силы в общественно-хозяйственных целях“, внести „планомерность в распадающееся

хозяйство“, помочь крестьянству „с наибольшей плодотворностью использовать наличные средства сельско-хозяйственного производства“, обеспечить „подлинную дисциплину труда“. Тут они отвергали, как навязываемый им кадетами, „*призрак* вооруженного восстания большевиков“. Тут они о самой передаче власти Советам заявили, что она „не упразднила бы ни борьбы классов, ни борьбы партий в лагере демократии“, что здесь, в Советах, должна быть обеспечена „полная и неограниченная свобода агитации“, при которой „в рамках советских организаций развертывалась бы борьба за влияние и власть“.

Я уж не говорю о постоянной готовности большевистской партии до 25 октября видеть именно у контр-революционеров стремление сорвать *Учредительное Собрание* и провоцировать гражданскую войну. Еще в воззвании центрального комитета этой партии от 30 сентября 1917 г. содержится рискованное пророчество в том смысле, что „контрреволюционеры пойдут на все, чтобы сорвать Учредительное Собрание“. Если понадобится, они откроют для этого фронт немецким войскам. Там же дается обещание „разоблачить все попытки буржуазии провоцировать вспышки гражданской войны и все силы сосредоточить на подготовке с'езда Советов на 20 октября,—с'езда, который один обеспечит созыв и революционную работу Учредительного Собрания“.

Даже сам Ленин тогда признавал *демократию* „этапом от капитализма к коммунизму“ и не чужд был понимания необходимости известных экономических и культурных предпосылок захвата власти и перехода к социализму, указывая хотя бы на то, что „к предпосылкам того, чтобы действительно все могли участвовать в управлении государством, принадлежит поголовная грамотность“ („Государство и революция“, подписано августом 1917 г.).

Было бы узостью и немарксистской поверхностностью толковать все эти заявления и факты в том смысле, что это лишь лицемерные уверения политиканов, стремившихся к захвату власти. Скорее они свидетельствуют о том, как стихия сумела захлестнуть большевистское крыло социал-демократии и повернуть его политику по *своему* руслу. В этом уже трагизм не только нашей больной революции, но и большевистского лагеря.

Ибо стихия может увлечь, но не оправдать суб'ективных

ожиданий и иллюзий революционеров не-марксистов, нереалистов, как бы ни восторжествовали они временно. И это доказывается всем дальнейшим развитием сделавшихся властью Советов, всем фактически содержанием и направлением их „социалистических“ экспериментов, всем характером „диктатуры пролетариата“ и теми расслоениями, которые все больше вскрываются на этой почве в лагере коммунистической партии.

Торжество отсталой и анархически-утопической стихии сказалось в основных тенденциях политики руководимых большевиками Советов—стремлении навязать отсталой полукрестьянской стране немедленное осуществление *социализма* и растоптать еще не сложившиеся *демократические* государственные формы только что раскрепощенной страны в погоне за призраком высшей формы „диктатуры пролетариата“.

И та, и другая тенденции не могут не быть утопичными на данной стадии социально-политического развития России: тут пролетариат, и по своей относительной численности, и по своему удельному весу, еще не обладает достаточной экономической мощью, еще не сложился в подлинного *организатора производства*; тут стоящее на очереди создание свободного и самостоятельного крестьянского хозяйства, к которому сводится *основной исторический смысл* демократической революции России, еще больше сокращает кадры пролетариев, лишенных всякой собственности; тут пролетарские массы не могли еще в отдаленной степени приобрести необходимый для социалистического переустройства общественных отношений уровень социалистического сознания и организованности, творчески-организаторского опыта.

Этот *центральный* пункт социально-политического положения России признают теперь и некоторые руководители советской политики—но лишь в отношении хода мировой *войны*. Один из идеологов этой политики, К. Радек, не раз подчеркивал за последнее время, что Россия неизбежно должна была первая быть раздавленной нынешней войной потому, что не может *крестьянская* страна справиться с войной *машинного* милитаризма. Но это совершенно бесспорное положение еще более применимо к задаче немедленного осуществления социализма. Не может крестьянская Россия теперь перескочить к тому строю, который непременно предполагает весьма высокий уровень производительности труда,

высшую степень машинной техники и соответствующие ей социально-психологические навыки пролетарских масс.

И, если явная недостаточность сил пролетариата России была главным побуждением к тому, чтобы расширить формулу диктатуры пролетариата, превратив ее в диктатуру пролетариата *и* крестьянства, то от этого дело становится только еще хуже. В особенности, при нынешних условиях, когда вызванное войной катастрофическое разрушение промышленности привело к увеличению относительного удельного веса сельского хозяйства в России, к ее *аграризации*, когда вызванная войною неслыханная дороговизна в значительной мере пошла в прок именно крестьянству, укрепив массу мелких собственников, *сильно расширив базу непролетарских элементов*.

Наконец, опыт истории учит, что крестьянство, поддержавшее рабочий класс в проникнутой глубоким социальным содержанием революции, всегда, под конец, *покидало* этот класс. Наглядным примером может служить не только парижская Коммуна, но и недавнее восстание рабочих в Финляндии.

Между тем то растворение пролетариата в солдатско-крестьянской стихии, которое было главной характерной чертой Советов с самого начала февральской революции и неизбежно привело к октябрьскому перевороту, было еще больше усугублено указанной политикой Советов после 25 октября. Если, при таких условиях, все-таки большевизм держался линии „немедленного социализма", то тут, быть может, не в малой дозе сказывался старый уклон бланкистской тактики большевизма, нашедший свое яркое выражение в известной мысли Ленина: пусть *массы*, их социально-политический уровень развития не соответствуют задаче осуществления социализма, но социалистический характер их движения обеспечивается тем, что *руководят* этим движением большевики—идеологи социализма.

В этой связи понятно и то, что из внутреннего противоречия формулы о социалистической диктатуре пролетариата *и* крестьянства идеологи советской политики стараются выпутаться введением неклассового, построенного на потребительном, а не производительном критерии понятия *„бедноты"* („беднейшее крестьянство", „комитеты бедноты"), что надежды на роль масс в процессе социалистического творчества строются тут на своего рода цензе нищеты.

Такова, в общем, социальная база Советов. Таковы идеология и линия политики руководящих ими партийных кругов.

IV.

Внешним выражением всех этих условий и почвы деятельности Советов являются черты этой деятельности, бросающиеся в глаза всякому, кто ее наблюдает хотя бы по публикуемым в самой же советской печати сообщениям и фактам.

Общий характер декретов, затрагивающих самые сложные и глубокие стороны социально-политической жизни, отличается недостатком деловой разработанности, скорее представляя собою принципиальные декларации, чем разработанные законодательные акты, подлежащие практическому применению в реальной действительности. Эта неразработанность, непродуманность не чужда и самой советской конституции.

Так, например, принятая 5-м С'ездом Советов 10 июля конституция оставляет в неопределенном, неразработанном виде вопрос об об'еме и социальном *составе* Советов. В разделе I (§ 1) конституции: „Россия об'является Республикой Советов Рабочих Солдатских и Крестьянских Депутатов". Раздел II (§ 9), определяя задачу конституции, говорит о диктатуре пролетариата и уже не всего крестьянства, а лишь „*беднейшего*". Раздел III, говоря о С'езде Советов, как о носителе верховной власти, определяет его уже, как „С'езд Советов Рабочих, Крестьянских, *Красноармейских* и *Казачьих* Депутатов".

По конституции, верховная власть принадлежит С'езду Советов или выбранному им Центральному Исполнительному Комитету. А в то же время 3-ий С'езд принял поправку Трутовского о том, что на местах *вся* власть принадлежит Советам.

По главе VII конституции, Ц. И. К. рассматривает и утверждает *проекты* декретов, вносимые Советом Народных Комиссаров. А по главе VIII, Совет Народных Комиссаров сам *издает декреты*, обо всех своих „постановлениях и решениях" только *сообщает* Ц. Исп. Комитету и лишь свои постановления и решения, „имеющие *крупное* общеполити-

ческое значение", представляет на утверждение Ц. И. Комитета. § 64 оставляет место многим сомнениям и толкованиям по такому *коренному* пункту, как определение категорий лиц, пользующихся правом выборов в Советы, устанавливая, например, категорию избирателей по такому крайне растяжимому—или, наоборот, легко сужаемому признаку, как добывание средств к жизни „общественно-полезным трудом", и, в то же время, не дает никаких указаний о *способах* осуществления избирательного права теми и иными категориями избирателей.

Число таких примеров можно значительно увеличить.

Другая черта—*неполная демократичность* самого советского строя, если даже оставаться в рамках тех категорий граждан, которым, в лице Советов, предоставляется теоретически *вся* власть. Выборы в Советы установлены § 25 конституции не прямые, а *трехстепенные.* Отсутствуют в конституции такие существенные институты народовластия, как права законодательной инициативы и референдума, которыми пользуются, например, граждане Швейцарской республики.

Мы уже не говорим о том, что права выбирать в Советы лишен, как „частный торговец" (§ 65, б), всякий безработный рабочий, занявшийся продажей газет или спичек, лишены также в некоторых городах многочисленные рабочие, имеющие свой домишко и по нужде держащие в нем постороннего жильца (§ 65, в).

Право отзыва депутатов и выбора новых, правда, установлено конституцией (§ 78), но чисто декларативно, без указания условий и способов осуществления этого права. А на *практике,* как известно, оно сведено часто к *нулю.* В конце 1917 и в начале 1918 года, когда рабочие массы в Петербурге и в других городах выразили недоверие своим советским депутатам и требовали выбора новых, это их требование отвергалось и подавлялось *всякими* способами—вплоть до локаутов и всяческих репрессий. Таким образом сведено на нет то мнимое преимущество Советов перед демократическими представительными органами, которое часто выдвигалось и которое должно заключаться в „гибкости Советов, легкой смене их состава, в соответствии с волею избирателей".

Вообще же практика, *реальная* конституция советская сводит к нулю многое из тех прав, которые конституцией,

писанной формально, признаны не только за избирателями и за депутатами в Советах, но и за Ц. И. К. и Всероссийскими С'ездами Советов. Народные Комиссары сплошь да рядом заменяются одни другими по *назначению* самого Совнаркома, а не по выбору Ц. И. К.

Декреты и мероприятия *крупнейшего* политического значения часто решаются и выполняются Совнаркомом без утверждения Ц. И. К. или Всеросс. С'езда Советов (разгон Учред. Собрания, роспуск центральной городской думы в Петербурге, национализация банков, шаги в области заключения мира с Германией и т. д.). На 3-м С'езде этот метод „ставить массы перед совершившимся фактом" был Лениным даже возведен в систему. А во многих случаях, где закон и подвергается на утверждение Советов или С'езда, это делается фактически без прений, *без всякого обсуждения*. Так проведена на 3-м С'езде Советов даже часть конституции.—„Декларация прав трудящегося и эксплоатируемого народа"—и такой колоссальной важности и сложности закон, как о социализации земли.

Да и вообще на всех заседаниях Ц. И. Комитета и Всероссийских С'ездах Советов поражает молчаливость, *пассивность* всех,—кроме небольшой группы лидеров, говорящих длинные речи, вносящих и без прений проводящих все решения,—так что все заседания приобретают характер *парадов*, на которых делегаты только присутствуют, но не влияют на разработку законов, на все изменения в курсе политики.

Наконец, Советы фактически совершенно лишены и бюджетного права, которым так или иначе обладала даже Государственная Дума при Столыпине и которым даже буржуазные парламенты дорожат, как опорой своей власти и независимости: Совнарком не представляет Ц. И. Комитету ни отчетности в расходовании народных денег, ни какого-либо плана расходов и способов их покрытия. Все денежные операции правительства производятся без всякого контроля со стороны центрального органа и Советов, которым по теории должна принадлежать *вся* власть.

В этом *фактическом безвластии* центрального органа Советов и состоит самая главная и характерная черта советского режима, восторжествовавшего под лозунгом „вся власть Советам". На почве торжества той политически отсталой стихии, о которой шла речь выше, получилось превращение воспринятого этой стихией лозунга в его полную

противоположность. Диктатура пролетариата, как строй, который по идее должен стоять *выше* демократического, именно благодаря устранению и подавлению основ демократизма, подвергалась перерождению—вернее, *вырождению*.

Опираясь на пассивность масс, господствующие группы без дальнейшего прибегают во множестве случаев к разгону не во всем следующих за ними Советов—вопреки формально принадлежащей им „всей“ власти. Во множестве случаев этот разгон практикуется стоящими вне Советов революционными комитетами или—как наблюдается за последнее время—комитетами деревенской бедноты. Зачастую Советы оказываются фактически совсем упраздненными,—их заменяют исполкомы.

Внутри Советов, как местных, так и центрального, попросту изгнана вся оппозиция господствующему курсу, как таковая. Вместе с оппозиционными депутатами на бесправие осуждаются стоящие за ними слои рабочих. Тут всецело применяется тот метод прусских аграриев в отношении королевской власти, который выражен в словах: „Der König ist absolut, wenn er unsren Willen tut“ (король имеет абсолютную власть, поскольку он творит нашу волю).

Фактически господствующими в советском строе являлись руководящие группы *партии* большевиков и левых эсеров, а со времени краха московской авантюры этих последних,—даже одной только большевистской партии (причем иногда не стесняются придавать этому господству и открытый *формальный* характер). К идейным ее сторонникам скоро присосались многочисленные элементы иного рода,—и водворилось господство советских бюрократических групп.

Эта *бюрократия*—безответственная, бесконтрольная, оторванная от массы, которой должна принадлежать диктатура—приобрела такое всемогущество, выросла в такое серьезное зло, что идейные элементы самой большевистской партии подняли вопль о советской бюрократии, как об опасности „хуже, чем холера“. Государственные строительные функции, в конце концов, были поглощены функциями бюрократически-полицейскими. Дошло до того, что именно из среды *идейных* приверженцев диктатуры все чаще стали раздаваться жалобы на то, что вместо лозунга „вся власть Советам“ торжествует лозунг „вся власть чрезвычайкам“.

V.

Таковы Советы,—таков характер их деятельности, такова их эволюция до сих пор. Но их эволюция *не приостановится*, не может приостановиться. Ибо если Советы связаны с жизнью, то они не могут не быть подвластны ее велениям.

А что Советы связаны с реальными условиями жизни России—несомненно. Об этом свидетельствует, помимо указанного, уже *длительность* их существования. Она заставляет признать, что тут в известном смысле применимо положение Гегеля: все (длительно) существующее—разумно. Конечно, разум этот заключается в указанных выше условиях развития русской революции. Но одно ясно: путь ее развития исторически лежит, между прочим, через стадию торжества большевизма и его господства в форме советского строя. Поскольку верно, что каждый народ имеет такого короля, какого заслуживает,—постольку можно сказать, что каждый революционный народ имеет такие органы революции,—в данном случае такие Советы,—каких заслуживает, понимая это в том же марксистском смысле, как и положение Гегеля.

Конечно, большевистская тактика вызывает нашу критику, нашу политическую борьбу против нее, так как является приспособлением к *теневой* стороне революционной стихии, к ее социально-политической отсталости. Но, если в этом приспособлении *слабость*, то в нем же и *сила* большевизма. Большевистская тактика оказалась для данного исторического момента наиболее подходящей, пришлась „по Сеньке шапка".

За последнее время положение большевизма и его господство в советском строе отчасти даже *укрепилось*. В первую голову этому способствовали неожиданный для самих лидеров большевизма факт военного краха германского империализма и связанная с этим перспектива высвобождения России из Брестского плена. Брестский мир представлял одну из крупнейших статей в пассиве большевистской политики. Он не только на внутренние условия развития русской революции давил мертвящим грузом, но был и сильным ударом по интересам интернационального пролетарского движения, так как способствовал усилению и торжеству германского империализма.

Теперь, *несмотря* на это усиление, *вопреки* влиянию Брестского мира, германский империализм переживает агонию. Большевики на это не рассчитывали. Они свои надежды возлагали на другое—на скорый взрыв социалистической революции на Западе в противовес торжествующему империализму Германии. Вышло иначе. По иному распорядилась неумолимая сила истории, ведущая свою линию через временное торжество большевистской власти в революционной России, как она вела свою линию через временное торжество Германии в мировом состязании империалистических сил.

Теперь в этом состязании оказывается победителем англо-американский капитал, и его победа в международной борьбе становится *роковой* угрозой торжеству большевистской власти в России. Но его полная победа при данных условиях становится серьезной угрозой и демократическим завоеваниям России, угрозой *более роковой*, чем со стороны временного торжества большевизма. И эта *новая* международная кон'юнктура не только до известной степени погашает крупнейшую—брестскую—статью в пассиве большевистской политики, но и несколько *сближает* интересы большевистской власти с интересами пролетариата России в демократической революции.

Правда, победа англо-американской коалиции, если бы она оказалась сокрушительной, может не менее вредно, чем предыдущее торжество германской, действовать на борьбу мирового пролетариата, судьбы которой тесно переплетаются с судьбами русской революции. Но, с другой стороны, приближающийся *конец войны* уже теперь бросает свой отблеск на процессы, совершающиеся в сознании пролетарских масс воюющих западных стран: эти массы *уже* явно начинают высвобождаться из-под власти страхов, которыми сковывала их сознание война, начинают приобретать свободу классово-революционной активности.

Мало того: не представляет собой чего-либо неизменного, однородного и сам большевизм, если приглядеться к его руководящим элементам и к следующим за ними массам.

Что касается *рабочих*, то в наиболее сознательных их верхах, поскольку они продолжат видеть в советской власти обеспечение социальных интересов рабочего класса, начинает пробиваться критическое отношение к некоторым „социалистическим“ экспериментам советской власти и делаются

усилия к тому, чтобы *выравнить* линию ее господствующей политики (в области рабочего контроля, положения профессиональных союзов и пр.).

Аналогичные усилия наблюдаются и в интеллигентских *верхах* руководителей большевистской политики. Тут, повидимому, все не прекращается то внутреннее брожение, которое началось уже давно и достигло своего наиболее яркого выражения после Октябрьского переворота. Тогда срыв большевиками соглашения с другими социалистическими партиями вызвал, как известно, опубликование решительного протеста против политики господствующей среди большевиков группы. Этот протест от 4-го ноября исходил от виднейших деятелей самой же большевистской партии: среди подписавшихся под ним фигурируют крупные звезды большевистского небосклона, в роде Каменева, Зиновьева, Ногина, Рязанова, Ларина, Рыкова и других.

Все эти лица открыто заявляли тогда, что Совет Народных Комиссаров ведет политику „сохранения чисто-большевистского правительства средствами политического террора“, „каких бы жертв рабочим и солдатам это ни стоило“; что эта политика проводится „вопреки воле громадной части пролетариата и солдат“, жаждущих „скорейшего прекращения кровопролития между отдельными частями демократии“. Наконец, они открыто признавали, что эта политика „ведет к отстранению массовых пролетарских организаций от руководства политической жизнью, к установлению безответственного режима и к разгрому революции и страны“.

И свой протест они подкрепили заявлением о сложении с себя званий Народных Комиссаров и членов центрального комитета большевистской партии. Правда, через некоторое время бунт внутри этой партии был ликвидирован и многие из протестантов вернулись к своим должностям. Однако, брожение, все время не прекращавшееся, становится за последнее время опять заметным в рядах господствующей партии. Тут явно пробивается понимание трудности положения, сознание того, что господствующий курс этой политики приводит к тупику. Тут начинает все более определенно высказываться неудовлетворенность этим курсом, бессилием в области хозяйственной политики. Тут же открыто поднимается голос протеста против полицейско-бюрократического вырождения советской власти, против господства чрезвычаек, против торжества методов коммунизма дележа, против раз-

жигания антагонизма между деревенской „беднотой“ и средним рядовым крестьянством.

Все это открывает некоторые перспективы *возможных изменений* политической линии советской власти. Если скоро наступит конец войне мировой и войне советской России с окраинами, если, благодаря этому, наша промышленность хоть несколько оправится и до известной степени восстановится хозяйственная сила рабочего класса, очищенного от примеси совсем уже отсталых деревенских элементов,—то может укрепиться *пролетарская база* советской России, могут в ней, равно как в руководящих верхах, возобладать марксистские *организующие* и творческие тенденции, без которых не могут быть преодолены господствующие ныне хаос и разложение.

Ближайшим условием осуществления такой перспективы является—в пределах положения Советов—обеспечение их *независимости*, их действительного влияния на политику власти. Советы должны стать самостоятельными *органами воли трудящихся масс*, свободными от произвола революционных комитетов. Советы должны обеспечить себе действительный контроль над органами власти, держать их в фактическом подчинении воле этих масс. Самый состав Советов должен быть основан на полной свободе перевыборов.

Если советскому строю, силой меняющейся кон'юнктуры международной жизни, суждено еще удержаться на продолжительное время, то не он переделает неподвластную ему реальную обстановку социальной жизни России,—ему остается самому *приспособиться* к этой обстановке, т.-е. дальше и решительное *эволюционировать*. В советском режиме должны будут отмереть временные наросты, уродующие и без того больную русскую революцию, разрушающие производительные силы страны, толкающие процессы хозяйственных преобразований на путь методов первоначального накопления и стремящиеся принизить пролетариат России чуть не до уровня „пролетариата“ времен упадка Римской империи.

В политике советской России должны установиться тогда вполне законченные *демократические* формы—взамен ныне царящей диктатуры *над демократией*. Это не должно быть воспроизведением ныне существующего в других государствах парламентаризма. Его пороки нам хорошо известны давно. Подлинного, законченного демократизма нет, ведь ни в одной из самых демократических стран—при подчиненной

в них роли парламентов, при громадной мощи бюрократии, отсутствии выборности чиновников, при известной структуре и роли вооруженной силы в этих странах.

Нет, в условиях, созданных русской революцией и исходом мировой войны, выдвигается мыслимая перспектива не такого парламентарного строя, а строя полной демократии, действительного народовластия. При укреплении хозяйственной и политической мощи пролетариата, Советы должны в этом строе играть большую роль, но претендуя на роль органов власти, не боясь осуществления основного принципа демократии—всеобщего избирательного права—и не основывая своей силы на бесправии целых слоев граждан.

Это соответствует исторической обстановке русской революции, которую совершенно правильно оценивает Каутский, говоря, что она, по своему содержанию, является *не первой из социалистических, а последней из буржуазных революций*. Правильности этого положения нисколько не противоречила бы, а—наоборот—скорее способствовала бы революционная конъюнктура западной Европы, если бы она решительно повернула в направлении процесса социалистического преобразования социальных отношений передовых капиталистических стран и в этот процесс втянула бы менее развитые капиталистические страны—в том числе и Россию. Именно для этого процесса скорейшее и полнейшее развитие у нас и укрепление форм действительного народовластия имеет *первостепенное* значение.

И созданию такого *вполне законченного*, по своим политическим формам и социальным отношениям, демократического строя могут содействовать Советы, если они проделают свою дальнейшую эволюцию в указанном направлении.

А. Ерманский.

Народное хозяйство и „социализм".

I.

В понимании экономической политики протекшего года нельзя сделать большей ошибки, как если об'яснить ее всю утопизмом и доктринерством. Нет более неверного представления, как то, что весь „немедленный социализм" введен

в России только потому, что большевики начитались социалистических книжек и пропитались максималистскими идейками. Не будь до революции ни одной мысли об организации производства пролетариатом,—сейчас в России мог бы быть такой-же „социализм". Он вырос целиком из русской почвы, и только его идеология, словесное выражение, номенклатура привнесены извне.

Наш социализм 1918 г. — неизбежный спутник хозяйственной разрухи и промышленного развала. Наш коммунизм и наша разруха неотделимы друг от друга, как две стороны одной медали.

Нужно напомнить факты. В первый момент после октябрьского переворота в кругах советской власти отнюдь еще не было уверенности, что Россия вступает со дня 25-го октября в царство социализма. Наоборот, официальная теория гласила: Надо продержаться до вспышки социальной революции на западе, и тогда—только тогда—мы, с поддержкой западных социалистов, вступим на путь социалистических преобразований. Россия, гласила теория, это *боевой* авангард мирового пролетариата; но она не в силах вступить сама и одна на путь социалистического развития. Советская власть, в первый момент после своего образования, не ставила себе задачей немедленный социалистический переворот всех хозяйственных отношений. *Но факты оказались сильнее ее.* В этом отношении характерна одна мелочь. 2 марта был издан декрет „О форме бланков государственных учреждений". По этому декрету, во главе бланка, слева, должна иметься надпись „Российская Федеративная Советская Республика". О том, что она *социалистическая* республика, и тогда говорили еще с каким-то внутренним сомнением. И только 10 июля С'езд Советов решается провозгласить конституцию „Российской *Социалистической* Федеративной Советской Республики".

Точно так же обстоит дело и с ходом экономических реформ. Центральный Исполнительный Комитет принял после переворота лишь декрет о „рабочем контроле" (14 ноября). Ни о национализации, ни о конфискации еще и речи не было; они не входили в план немедленной политики. Их допускали тогда лишь как *меру наказания* против тех предпринимателей, которые уклонялись от рабочего контроля. И, действительно, первый декрет о конфискации предприятия, от 9 декабря 1917 г., гласит: „в виду отказа акционернаго Симского об-

щества горных заводов подчиниться декрету Совета Народных Комиссаров о введении рабочего контроля над производством, Совет Народных Комиссаров постановил конфисковать все имущество" и т. д. Буквально так же мотивируются и следующие декреты: о конфискации Богословского О-ва (10 декабря), Сергиево-Уральского (27 декабря), Кыштымского (27 декабря) и др. О *планомерной социализации* еще и речи нет. Власть устраняет владельцев от предприятия, подобно тому, как при Керенском были секвестрованы некоторые предприятия, не желавшие в том или ином пункте следовать приказам свыше. Разница только в количестве таких случаев. Но точно так же обстояло дело с другими „принципиальными" реформами.

При этом нужно иметь в виду, что дело здесь не в особой, заранее продуманной постепенности в осуществлении социализма. Нет, эту постепенность советская власть все время отрицала. И если она тем не менее шла ощупью по этому пути, то только потому, что она явилась слепым выразителем того стихийного процесса, который оказался сильней ее вождей и ее теорий.

Демобилизация военной промышленности, с одной стороны, и отсутствие основных элементов производства — с другой, с каждым днем били все сильней по рабочему классу. Массовое закрытие предприятий, начавшись еще летом 1917 года, продолжалось после октября все более ускоренным темпом. Это был не обычный промышленный кризис, а полная приостановка промышленной деятельности, и она сопровождалась поэтому не обычным увеличением промышленной резервной армии, а перечислением $^3/_4$ рабочего класса в безработный резерв. Это была катастрофа для миллионов пролетариев, лишавшихся тем самым всякой возможности существования. *Попытка взять производство в свои руки* была неизбежной и естественной реакцией голодных масс на массовые расчеты и ужасы голода. Недоверие к буржуазии в такой момент приняло самые крайние формы: „если вы, буржуа, не хотите или не можете продолжать работу так, чтоб мы могли жить от нее, тогда позвольте нам стать у руля заводского управления!". Поэтому захват фабрик и заводов, раньше чем наверху выработаны были соответствующие идеологические формы, стал проводиться низами и стал бытовым явлением. „Рабочий контроль" был первой ступенью; „конфискация" местной властью—неизбеж-

вой следующей ступенью. 15 февраля Высший Совет Народного Хозяйства постановил, что никакая конфискация недействительна, если она проведена без него или без Совета Народных Комиссаров. Но это — одна из многих мер, пытавшихся совершенно тщетно внести организованность (первое условие социалистического производства) в русскую социализацию. Это было совершенное непонимание корней русского социализма. Столь же утопично было пожелание Ленина в апреле о том, чтоб положить предел национализациям и заняться тем, что уже имеется. Ленин тоже не учел того, что „социализм“ — неизбежный стихийный спутник разрухи, и что наши русские национализации руководствуются меньше всего потребностью *организованного* производства. На этот раз Ленин оказался меньше всего реальным политиком. Через три месяца после упомянутого циркуляра Высшего Совета Народного Хозяйства, член его президиума Вейнберг тяжело вздыхает: „Циркуляр В. С. Н. Х. не везде соблюдается... К нам поступают далеко не все сведения с мест о предприятиях, национализированных местными органами власти. Часто сведения об этих предприятиях поступают к нам только тогда, когда у них появляются затруднения финансового характера“ [1]). Достаточно просмотреть длинный список 513 предприятий, национализированных или секвестрованных до июня 1918 г., чтоб убедиться, что больше половины их „взято в свои руки“ местными организациями, под давлением рабочих, без всякого государственного плана.

Но если „социализация“ была реакцией на промышленную разруху, то она должна была проявляться тем сильнее, чем тяжелее состояние данной отрасли промышленности. В этом отношении положение было следующее. Демобилизация ударила непосредственно и особенно тяжело по трем отраслям: металлургии, металлообрабатывающей и химической промышленности. Наряду с ними, в итоге всеобщего расстройства, разрушен был транспорт. Положение железных дорог общеизвестно; но здесь о национализации говорить не приходилось, так как больше $^{4}/_{5}$ железных дорог и раньше принадлежали государству.

И вот мы видим, что упомянутые отрасли, особенно пострадавшие от разрухи, дают огромнейший процент социализированных предприятий.

---

[1]) „Народное Хозяйство“, № 4, стр. 44.

Из 513 национализированных предприятий группа „металлы“ дает 218, т.-е. 40% всех предприятий; если же принять во внимание и величину предприятий (напр., число рабочих), то эти отрасли (а также химическая) дают чрезвычайно высокий процент национализации. Водный транспорт, давший на Волге у Казани оборот 41 судов против 645, в апреле 1917 г. *был первой в России отраслью промышленности, национализованной целиком* (декр. 26 янв.).

Этот особый характер национализации, как страховки от ужасов стихийной демобилизации, особенно ярко проявился в том, что в центральном промышленном районе, который является по преимуществу районом текстильным, было до мая национализовано и секвестровано 53 предприятия, из них [1]):

в металлообрабатывающей	промышленности	37
„ текстильной	„	10
„ химической	„	8
„ деревообделочной	„	2
„ других производствах		6

Так как демобилизация военной промышленности приходится главным образом на зимний период (декабрь 1917 г. и первые три месяца 1918 г.), то мы наблюдаем следующую картину. Из тех предприятий, о которых известен срок национализации или секвестра, приходится на:

декабрь	1917 г.	33
январь	1918 „	37
февраль	1918 „	22
март	1918 „	37
апрель	1918 „	1
май	1918 „	7

Как ни неполны эти сведения, они отражают тот факт, что к весне демобилизация чисто-военной промышленности прекратилась. Вместе с тем от России оказалась отрезанной и Донецкая область, в которой промышленная разруха достигла в этот момент крайних пределов и которая *дала бы, без сомнения, огромный материал для весенней и летней национализации*, еслиб она не оказалась к этому времени по ту сторону фронта.

---

[1]) „Родина“, 10 мая.

Развал промышленности продолжался, и к осени пришла очередь за последней, живучей еще, из крупных отраслей— за текстильной. Недостаток сырья и топлива подкосил еще летом ткацкую промышленность в Петербурге. Московская же тянула еще до октября. Но в октябре и ее постигла участь ее собратьев: 138 предприятий были закрыты в первой половине октября в Московской области. Если мы тем не менее не слышали в это время о массовой социализации текстильной индустрии, то это об'яснется тем, что, во-первых, постепенное замирание ее нашло себе выражение в непрерывном укреплении власти „Центротекстиля"; а, во-вторых, в том, что, совершенно неожиданно для России, 28 июня был издан декрет о национализации всех крупных предприятий вообще. Этот декрет, однако, стоит вероятно в связи не с внутренней экономической политикой, а с берлинскими переговорами. Декрет превращал владельцев предприятий в арендаторов, но сохранял за ними de facto положение капиталистов. Если же затем некоторые предприятия и на деле „освобождались" от своего владельца, то это происходило уже тихо, без отражения в декретах советской власти.

Национализация должна была *в идее* служить первой ступенью к рациональной организации производства. На деле было иначе. Новые владельцы, местный совет и заводский комитет, начинали с того, чем кончил смещенный собственник: они искали топлива и сырья, но в 99 случаях из ста эти поиски оканчивались безуспешно. Неизбежность закрытия предприятия делалась теперь—*но только теперь*—ясной и местным рабочим. Однако, национализация была для них методом искусственно продлить жизнь предприятия, часто фиктивную, и наиболее безболезненно ликвидировать его. Представители таких, дышащих на ладан, заводов неизменно появлялись в Высшем Совете Народного Хозяйства и в Государственом Банке с настойчивым требованием „авансов" под будущее производство. Насколько успешна была в этом отношении социализация—видно из того, что за одни только первые 3 месяца 1918 г. выдано ссуд и кредитов национализованным и секвестрованным предприятиям 433 милл. руб. [1]). Народный комиссар Гуковский исчислил расходы на эту цель в 2 миллиарда на полгода.

---

[1]) По сведениям „Торгово-Промышленной Газеты" от 16 июня 1918 г. (полны ли они?).

Итак, социализация промышленности была для рабочих масс средством наиболее безболезненно для себя ликвидировать промышленность. Она была средством *участвовать в распределении национального продукта, не участвуя в производстве его.* В момент крушения индустрии—обеспечение безработных, т.-е. право их участвовать в распределении, было бы неизбежно даже в условиях буржуазного строя. Но в нашей обстановке эта помощь была не систематической и откровенной, а скрытой под видом „новой, высшей ступени хозяйственных отношений“. На деле наш социализм был дележкой не только в чистой сфере распределения, но даже и в области „производства“.

Промышленность быстро сокращалась, „социализм“ столь-же быстро расширялся. К концу первого года новой эры промышленность замерла. И вместе с тем регламентация промышленности достигла своего зенита. „Главки и центры“ плодятся и размножаются, открывают непрерывно новые отделы, секции, подсекции, дробятся и об'единяются, издают постановления, регулируют, контролируют и проявляют тем больше жизни, чем больше суживается под каждым из них промышленный фундамент. Председатель Высшего Совета Народного Хозяйства Рыков заявил, что с мая по сентябрь число служащих в Высшем Совете увеличилось с 400 до 4.000. Но вместе с тем производство, регулируемое Высшим Советом, сократилось по меньшей мере в три раза.

Все попытки наладить социалистическое производство там, где оно замерло, кончались полным фиаско. Нам неизвестно ни одно исключение из этого правила. Здесь все было пущено в ход. Миллионы готовы были власть имущие уплатить бывшим предпринимателям за „выучку“; велись длинные переговоры о привлечении „на службу“ левиафанов русского капитализма; ради спасения производства, коммунизм готов был идти и на сдельную плату, и на систему Тэйлора. Из этого всего ничего не вышло. Самая крупная и серьезная попытка—переговоры с Мещерским весной 1918 г. об организации на новых началах предприятий „Сормово-Коломна“. Но историческая неизбежность сказалась и здесь: переговоры ни к чему не привели. Вместо этого была создана государственная организация „национализованных заводов“. Состоявшаяся в середине октября „строительно-транспортная конференция“ этих заводов показала, что они так и не могут выбраться из стадии, так-называемой, „предварительной ор-

ганизации". Так, напр., на Брянском заводе, который притом работает лучше других, количество рабочих вновь уменьшено до $6^1/_2$ тысяч. Невыход на работу достигает 30—35%. Вообще же было констатировано, что „работа правления (государственная дирекция этого треста), как коллегиального органа, налаживалась очень туго, благодаря целому ряду неблагоприятных обстоятельств" [1]).

Таков итог одного года социализации: *где есть производство, там нет „социализма": где есть „социализм", там нет производства.*

II.

Война разрушает не сразу всю систему народного хозяйства. Она подтачивает его, как червь, постепенно, методически, начиная с фундамента и медленно добираясь до самой верхушки. Сельское хозяйство одно из первых ощущает удары войны. Для него рабочая сила—решающий фактор, и чем примитивнее система сельского хозяйства, тем тяжелее отражается на нем военная мобилизация рабочих сил.

Поэтому русское сельское хозяйство стало очень скоро блекнуть, и кризис его сделался явным задолго до того, как заговорили о промышленном кризисе. Но сельское хозяйство—основа всего хозяйственного здания. Сотрясение постепенно распространялось и в верхние этажи. Стала замирать добывающая промышленность, и продовольственный кризис сыграл в этом не малую роль. За добывающей промышленностью последовал транспорт, лишенный топлива. За транспортом—обработка металлов. Наконец, удары землетрясения стали ощущаться и в высших этажах, и к концу 1918 года обрабатывающая промышленность на три четверти погибает в пучинах экономической катастрофы.

Но точно так же, как с земледелия пошла хозяйственная разруха, так с него же начинается и обратный процесс оздоровления. Общественный организм сам находит средства преодолеть свои болезни. Массовое дезертирство в 1917 году и демобилизация армии в первую четверть 1918 г. вернули русскому земледелию ту массу рабочей силы, без которой никакое выздоровление немыслимо было. По подсчету министерства земледелия, до лета 1917 г. было мобилизовано $14^1/_2$ милл. человек, из них $13^1/_2$ милл.—из деревни, и только

---

[1]) „Правда", 20 октября 1918 г.

1 миллион был взят из города. Теперь, в начале 1918 года, эти миллионы вернулись, за исключением тех, кто убит или остался в плену. В общем не менее 10 милл. рабочих сил вернулись к производительному труду в деревню. Вместе с тем создалась необыкновенно благоприятная кон'юнктура для сельского хозяйства. Высокие цены на все продукты его, не только покрывающие все издержки, но оставляющие еще огромную чистую прибыль, побуждают всякого хозяйственного мужичка достичь максимума в этом отношении. Нет сомнения: революционная обстановка—твердые цены, реквизиция, комитеты бедноты, внутренняя борьба в деревне—во многом сократили хозяйственный размах. Но не надо преувеличивать значения этих факторов. Даже недосев, о котором было столько речи весной, оказался, очевидно, не очень велик. Большим минусом осталась только неполная обработка бывших помещичьих имений, дававших главный процент рыночных хлебов.

Но в общем и целом создались предпосылки для под'ема русского сельского хозяйства. Трудно сказать, обязан-ли сравнительно хороший урожай 1918 г. этой новой экономической обстановке; но нет сомнения, что она скажется очень скоро в итогах сельско-хозяйственного труда. В то же время деревня, несмотря на все наскоки городского коммунизма, оставалась вне сферы национализации, и товарное производство старого типа продолжало с успехом развиваться.

Центр тяжести хозяйственной жизни за этот год перенесся в сферу сельского хозяйства. Накануне войны, по подсчетам С. Н. Прокоповича, земледелие и скотоводство давали всего 45% всей ценности национального производства России. Но с тех пор, как замерла промышленность, положение дела изменилось. Ни на какие другие товары цены не поднялись так высоко, как на продукты деревни, и потому в России не осталось ни одной отрасли труда, которая была бы выгоднее земледелия. Городское население, сдавленное голодом, безработицей и бешеными ценами, бросилось в деревню, и обезлюдение городов сделалось столь же неизбежным последствием промышленной разрухи, как и городская социализация. За 1½ года (с 1 февраля 1917 г.) население Петербурга сократилось с 2½ миллионов до 1.200 тысяч. Тот же процесс, с некоторым запозданием, развивается очень быстро и в центральном промышленном районе. А в Донецкой области промышленный труд на многих шахтах

прекратился потому, что разбежались в деревни голодные рабочие.

И вот, в тот самый момент, как замирают самые живучие элементы промышленности, когда на верхушках индустриального здания воцаряется мерзость запустения, там в глубине, в недрах земледелия, идет уже обратный процесс. Пройдет еще некоторое время, и первые результаты пробуждения хозяйственной весны начнут сказываться все яснее. Если России не суждено впутаться в новую долгую войну,—у нее созданы уже предпосылки для того, чтоб окрепнуть и зажить здоровой хозяйственной жизнью. Лишь только пройдет полоса крайнего голода, вновь заработает промышленный механизм. Сперва оживет горное дело и добывающая индустрия; непосредственно вслед за ней транспорт; затем улучшение транспорта и снабжения России сырьем и топливом позволит мало-по-малу вновь наладить работу во всех углах и закоулках промышленности и торговли. Победа деревни над городом—явление тяжелое, неизбежное и преходящее. Это шаг назад, необходимый для того, чтоб прикоснуться к земле, набраться сил и быстрым шагом пойти вперед.

Там, где в России еще сохранилась какая-нибудь хозяйственная деятельность, это деятельность самого откровенного буржуазного типа. Я при этом имею в виду не разные сферы всевозможных оккупаций, открывающих простор „частной инициативе“—не Украину, Сибирь и пр. Как известно, промышленный кризис там не меньше, чем в советской России, и господство буржуазных партий не оказалось способным воссоздать буржуазную промышленность. Оно и понятно: предпосылки для промышленного развития создаются постепенно, и одной из них является закрепление за крестьянством всех его земель, старых и новых. Буржуазная власть—отнюдь не магическое средство для воссоздания индустрии, а когда буржуазные партии, проявляя должную дозу близорукости, идут на союз с дворянскими хлеборобами,—они больше вредят воссозданию буржуазного строя, чем советская власть.

Но в советской России еще идет кой-какая промышленная жизнь. В некоторых мелких отраслях продолжается работа, и в них сохранился чистый капитал, в особенности в сфере мелкого производства. Но особенно живо пульсирует буржуазная кровь в жилах неумирающей *торговли. То, что называется спекуляцией—это та форма, которую прини-*

мает торговля в периоды огромных рисков и обесценения денег. Так же, как в период первой французской революции ни декреты, ни массовые казни не справились со спекуляцией, так и у нас: имеется декрет, наказующий 10 годами тюрьмы за спекуляцию; случаи расстрелов за спекуляцию насчитываются десятками. Но и то, и другое, повышая риск, лишь повышает цены и превращает торговлю в арену для беспардонных авантюристов, алчных и пронырливых, „выходящих в люди“ по трупам тысяч сограждан своих. При нынешних экономических условиях торговлю нельзя ни „социализировать“, ни убить. Она, буржуазная торговля, выходит сухой из кровавого океана коммунистического террора.

Я сказал выше, что там, в России, где есть „социализм“, там нет производства. Но где есть производство,—там есть буржуазный строй. Сила этого строя не в белогвардейских заговорах, не в миллионах денег, не в иностранной поддержке. Его сила в том, что в русских условиях он один оказывается способен организовать общественное производство. И вот, из-под ледяной коры коммунизма, покрывшей экономику России, то здесь, то там пробивается зеленый росток буржуазного хозяйства. Его срывают или срубают, но он ищет себе выхода в другом месте и превращает коммунистические потуги преследующей власти в тяжелый сизифов труд. Ибо каждый социалист должен открыто признать: поскольку в России—в городе и деревне—есть хозяйственная жизнь, это жизнь буржуазного типа.

Пишется „учет“, а читается „спекуляция“. Пишется „социализм“, а читается „свобода торговли“. Почему с такой легкостью обходятся все декреты о нормировании и регулировании? В сфере *распределения* Россия уже дошла до того, что нормирование превратилось в свою противоположность. Оно ограничивалось сперва узким кругом немногих товаров. Постепенно развиваясь, оно захватило почти весь товарный рынок. Но вместе с тем оно исчезло из обихода, и лишь изредка является гражданам республики в лице карающего правосудия. Никогда в течение всего периода революции беззастенчивая спекуляция не справляла такие оргии, как в тот период, когда 90% всего рынка взято на учет и контроль. Никогда слабость государства, как хозяйственного руководителя, не была так велика, как к моменту годовщины октябрьской революции.

Когда настанет час, и промышленность проснется от об-

морочного состояния, ее оживление будет происходить в ярко-выраженных буржуазных формах. Хорошо ли это? Для рабочего класса это дурно; и он долго еще будет требовать государственного вмешательства в процесс буржуазной эксплоатации. Но речь идет здесь о том, чтоб правильно оценить ситуацию и определить очертания того строя, который грядет на смену коммунизму. Поэтому мы должны сказать: к сожалению, сделано все, чтоб разрушить почти все возможности государственной регламентации и посадить на трон ничем не ограниченный буржуазный произвол.

И все же меньше всего может идти речь о *реставрации* буржуазного строя в России. Ибо со старой, до-военной буржуазией Россия покончила почти столь же радикально, как с дворянством. Сперва это был бич войны: он выбил из строя целые капиталистические слои в „мирных" отраслях производства: строительном, деревообделочном, во внешней торговле и мн. др. Затем пришла революция. Она действовала сперва медленно, но раньше всего нанесла удар старому слою хлеботоргового купечества. С ее развитием, промышленное положение делалось все более шатким. Заводы закрывались, капиталы в виде денег обесценивались. После октября наступил великий потоп. Аннулирование займов, национализация банков, конфискация заводов, распродажа акций заграницу, бегство на Дон и Украину, исчезновение кредита и неполучение долгов—вот мартиролог старой русской буржуазии. И теперь она доживает свои последние дни, перестав получать свою прибавочную ценность и проедая свои капиталы скорее, чем быстрее рост цен, чем несомненнее обесценение десятков тысяч керенок и кредиток, спрятанных под половицей и олицетворяющих былое величие.

Сходит со сцены старая русская буржуазия, солидное купечество в смазных сапогах, с окладистой бородой, неторопливое, рутинерское, даже в столицах захолустное. Сходит со сцены и наша „ходатайствующая промышленность", заменявшая все буржуазные добродетели связями и взяткой. Она ездит теперь по миру, ища заступников, которые вернули бы ей ее старое, безбедное и—главное—спокойное житье. Но рядом с нею вырастает новая буржуазия с европейскими замашками, беззастенчивая, вечно суетливая, горящая огнем стяжания. Она вся—parvenus. Она не насчитает и двух поколений в именитом купечестве; она не похвастает браками со старыми дворянскими родами. Происхождение ее

мелкое, и все корни ее в военном и коммунистическом строе. Она выбилась наверх своими силами, и эта победа над тысячами соперников—ее главная гордость. Мешечники, спекулянты, подрядчики, дельцы и пройдохи—вот строители новой буржуазной России, *продукт и наследники октябрьской революции.*

Д. Далин.

- - - - -

Финансы советской республики.

Октябрьский переворот уже застал страну в отчаянном финансовом положении. Незадолго до переворота министерство финансов бывшего Временного Правительства опубликовало отчет о положении государственного казначейства, характеризовавший его густыми темными красками.

По данным министра финансов, ассигновано было на потребности войны к 1 января 1915 г.—2,55 миллиарда, к 1 января 1916 г.—11,92 млд., к 1 января 1917 г.—27,19 и к 1 сентября 1917 г.—всего 41,39 миллиардов рублей. Действительный расход, по данным Дементьева, не достигал этой суммы, а равнялся приблизительно 39 миллиардам рублей. Обыкновенных расходов насчитывали за 1914—1916 г.г.—9.192 м. р. По расходным расписаниям до 1-го сентября было отпущено 2,47 млд. р., а ассигнованных сверхсметных кредитов до октябрьского переворота было 1,19 млд. р. Считая, что за первые 8 месяцев их было израсходовано около 0,95 млд. рублей, мы получим общую сумму в 3,42 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма всех расходов до 1 сентября составит (39 + 9,19 + 3,42) 52,6 миллиарда рублей.

Доходов же поступило в 1914 г. на 2.898 м. р., в 1915 г. 2,82 м. р., в 1916 г. 3.975 м. р.,—за первое полугодие 1917 г. 2.116,8 м. р., а до 1-го сентября 3.170; всего, следовательно, 11.818 м. р., до 1-го июля и 12.871 м. р. до 1-го сентября 1917 г.

Таким образом, до конца 1916 г. действительные расходы составляли 34,1 миллиарда, а доходы 9,6 м. р., дефицит равнялся 24,5 млд. р., а до 1-го сентября 1917 г. дефицит возрос *до 39,7 миллиарда рублей.* К началу 1914 года накопилась в кассе государственного казначейства свободная

наличность в 514,2 м. р.; кроме того, осталось от неиспользованных смет прежних лет 54,4 м. р. На эту сумму приходится сократить дефицит, который тогда будет несколько больше 39 миллиардов рублей.

Как был покрыт этот дефицит? С начала войны до 1-го сентября 1917 г. было получено от внутренних займов, не считая „Займа Свободы", 7.538 миллионов рублей, а от „Займа Свободы" выручено 2.960 м. р. Учет краткосрочных обязательств на открытом рынке дал 4.370 м. р. и выпуск 4% билетов государственного казначейства—850 м. р.; всего, следовательно, реализовано на внутреннем рынке займов на 15,72 миллиарда рублей. Заграничные займы дали 8.062 м. р., а в государственном банке было учтено краткосрочных обязательств на 12.251 м. р. Таким образом, от займов выручено было 36 миллиардов, и *кассовый* дефицит остался в размере около *трех* миллиардов.

До 23 октября он должен был значительно подняться. Во всяком случае, позаимствования из средств государственного банка шли ускоренным темпом. С 1-го июля по 23 октября было выпущено кредитных билетов, очевидно, для удовлетворения спроса государственного казначейства, на 5.861,6 м. р., или в среднем на 1.563 м. р. в месяц, между тем, как с начала 1917 г. по 1-го июля банк выпускал в среднем только на 659 м. р. кредиток.

Ясно, что напряженное состояние государственных финансов достигло уже перед октябрьским переворотом крайней степени. В то же время количество обращающихся в стране кредиток доходило до 18,92 миллиардов рублей, между тем, как количество золота в стране было всего 1.296 миллионов рублей.

К концу 1917 г., картина была еще более безотрадная. По данным докладной записки Гуковского, открытые в 1917 г. кредиты, не связанные с войной, составляли 4.955,9 м. р., из которых около 500 м. р. были отнесены на счет военного фонда. На войну было ассигновано 22.734,7 миллиона рублей. Кроме того, в сметы 1917 г. были перенесены остатки ассигнований 1916 г. в размере 2.135,3 м. р., так что общий расход на военные потребности составлял 24,87 миллиарда рублей. Прибавив еще 600 м. р. на платежи процентов по краткосрочным обязательствам, получаем общую сумму в (4.955,5 + 500 + 24.870 + 600) 29.925,9 милл. р.

Относительно доходов 1917 г. объяснительная записка

Гуковского предполагает считать их в размере 4.672,6 м. р. обыкновенных и 320 м. р. чрезвычайных, а всего 4.992,6 м. р. Дефицит составлял *кругло 25 миллиардов рублей*. Внутренние долгосрочные займы дали в 1917 г. 3.729 м. р., от учета краткосрочных обязательств за границей выручено 2.535,5 м. р. и в государственном банке 10.843,7 м. р., всего 17.126,2 м. р. Прибавляя 30 м. р. остатка от предыдущих смет, получается 17.156 м. р., а вместе с доходами 22.148,8 м. р. Таким образом, *кассовый* дефицит к концу года равнялся (29.925,9 — 22.148,8) 7.777,1 м. р., к которому следует присоединить еще 698,1 м. р., оставшиеся к началу 1917 г. непокрытыми, имевшимися в руках казны средствами. Итак, кассовый дефицит к началу 1918 г. составлял *8.475 миллионов рублей*.

По росписи на первую половину 1918 г. были открыты кредиты в размере 17,6 миллиарда (13,04 миллиарда обыкновенных и 4,36 миллиарда чрезвычайных расходов, вызванных ликвидацией войны). При этом из бюджета были исключены кредиты на оккупированные части России, на Украину, Юг России, Закавказье, Прибалтийский край, как и на некоторые другие губернии, занятые немцами. Только уже произведенные до оккупации расходы были включены. Доходы исчислены были в размере 2,85 м. р. Но, как было указано Дементьевым в „Торгово-Промышленной Газете", действительное поступление доходов было гораздо меньше, и за первую половину 1918 г. имелись данные только по 23 губерниям, которые указали доход в 613,4 м. р. против 714,6 м. р. за то же время по тем же губерниям в 1917 г.

Во всяком случае, дефицит составлял 14,75 миллиарда рублей. Так как роспись была опубликована 6 июля, т.-е. в начале второго сметного периода, то вряд-ли все открытые кредиты были использованы. Надо поэтому полагать, что действительный дефицит не превышал 10—12 миллиардов.

На второе полугодие 1918 г. положение значительно ухудшилось. Расходы страшно возрасли, хотя при исчислении их была исключена Сибирь и отчасти другие, вновь занятые иностранными войсками или по тем или иным причинам отрезанные от советской России области. Общая сумма расходов достигла уже 29,12 миллиарда рублей (между ними 7,66 млд. для военного ведомства и 0,42 млд. р. для морского), между тем, как исчисленные доходы составляли 2,73 миллиарда рублей, так что дефицит второго полугодия уже

составит сумму в 26,39 миллиарда рублей, т.-е. почти в два раза превосходит дефицит первой половины 1918 г. При этом, в первом полугодии было много расходов, связанных с ликвидацией войны (4,56 миллиарда р. чрезвычайных расходов занесено в роспись на 2.798 м. р., между тем главную тяжесть бюджета составляют расходы на красную армию). Таким образом, милитаризация бюджета становится как будто нормальным явлением. Социализм в эпоху империализма принимает невольно окраску своего времени...

Дальше, на продовольствие тратят 3,15 миллиарда рублей. Считая, что все количество городского и фабрично-заводского и т. д. населения советской России не превышает 12 миллионов человек, то на каждого в 6 месяцев государство тратит кругло 263 рубля или в день почти 1,5 рубля и это на $^1/_4$—$^1/_2$ фунта хлеба, который дают продовольственные органы!

Чрезвычайно грозным явлением надо считать также рост дефицитности железных дорог, почтово-телеграфного ведомства и т. д. Вообще, решительно все национализированные предприятия государства занесены в бюджет с дефицитом. Очевидно, тут имеем дело с коренным недугом: рост расходов на заработную плату и управление превышает возможную при постоянных условиях производительность труда.

Бюджетный дефицит за весь 1918 г. составит колоссальную сумму в 41 миллиард рублей, а с присоединением кассового дефицита 1917 г. даже 49,5 млд. р. Чтоб его покрыть, приходится печатать бумажки, больше нежели на 4 миллиарда рублей в месяц, не считая других расходов Народного Банка, например по ссудам различным учреждениям.

В действительности, однако, вряд ли выпуск кредиток доходит до таких размеров. Вероятно, часть расходов покрывается из наличных выручек на станциях железных дорог, в почтово-телеграфных конторах, контрибуциями и т. д. Во всяком случае, количество обращающихся на рынке бумажек огромно. Отчасти, вероятно, по этой причине, и главное, конечно, вследствие все усиливающейся дезорганизации транспорта и вообще регулирующих органов, цены на продовольствие бешено поднялись. По данным „Статистики Труда“, органа Комиссариата Труда, цены на продовольствие поднялись с июня 1916 г. по июнь 1917 г. в $2^1/_2$ раза, а по июнь 1918 г. в 15 раз.

Мы приближаемся гигантскими шагами к катастрофе. С июня 1917 г. по январь 1918 г. цены выросли в 2,5 раза, а с января по июнь опять поднялись в 2,2 раза. И только в августе последовало распоряжение о повышении хлебных цен *втрое*...

Нет возможности в небольшой заметке дать исчерпывающий ответ на вопрос о причинах этого состояния и о путях, которые бы дали возможность выбраться из него. Скажу только определенно, что основная причина лежит в *истощении страны и ее ресурсов*. Однако, на одну сторону дела приходится обратить внимание. Буржуазные экономисты и вообще обыватели винят в дороговизне якобы высокие цены на рабочие руки. В действительности, рост заработной платы сильно отстает от роста цен на продовольствие, и заработная плата поднялась с июня 1916 по июнь 1918 всего в 3,87 раза, т.-е. реальная заработная плата упала в *2 раза*, считая, что на продовольствие тратится только приблизительно 50% дохода, и в 4 раза, если считать, что и все остальные предметы поднялись в таком же размере в цене, как предметы продовольствия. Следовательно, дело не в высоких ценах на рабочие руки.

Но, с другой стороны, нет сомнения, что истощенная страна не в состоянии нести тех затрат, которые необходимы для переустройства народно-хозяйственного организма на социалистических началах. Производительность так пала, что нет излишков, как ни сократи личное потребление. А между тем, реорганизация народного хозяйства на социалистических началах требует огромных *капитальных* затрат, требует другой администрации и организации производства, которая относительно дорого обходится. Конечно, если бы удалось преодолеть эти препятствия, то через 5—10 лет все эти затраты на народное образование, на создание самоуправляющихся хозяйственных коммун, на развитие железных и шоссейных дорог, на эксплоатацию естественных богатств и т. д. сильно подняли бы производительные силы страны. Но откуда взять *теперь* средства для всего этого?

Тут мы наталкиваемся еще на один острый вопрос, которого во всей полноте мы здесь также не можем решать, на вопрос об *отсутствии займов*. В противоположность многим товарищам, пишущий эти строки все время держался взгляда, что аннулирование займов—ложный финансовый шаг, и действительность меня еще больше убедила в этом.

Теперь оказывается, что мы платим, хотя и частично, по аннулированным займам (по смете второго полугодия 1918 г. 252 м. р.), а главное, лишены возможности доставать необходимый для развития производительных сил капитал. И нет сомнения, что придется в конце концов признать эти долги.

Таким образом, в финансовом отношении страна оказалась в безвыходном положении и полнейший крах неминуем, если не удастся сократить значительно государственные расходы (напр., на армию, прекратив гражданскую войну, и на бюрократию, упростив механизм управления и подчинив его общественному контролю) и не развить быстро производительные силы страны, национализируя только те отрасли производства и обмена, которые по техническим и производственным условиям могут быть национализированы, и давая в других отраслях простор частной инициативе, являющейся на данной ступени их развития прогрессивно действующей силой...

Финансист.

Политический террор, как метод управления.

I.

Между классическим террором Великой французской революции и „красным террором“ наших дней имеется так много общего, что сравнение их навязывается само собой. А для оценки исторического значения всякого революционного террора, опыт эпохи конвента дает богатейший, неисчерпаемый материал, и этот материал теперь, при свете русской революции, когда он как бы заново переживается нами, заслуживает особо внимательного рассмотрения.

Условия, в которых находилась революционная Франция 1792—1794 г.г. и которые породили эпоху террора, в некоторых отношениях поразительно напоминают самую жгучую современность. И Франция вела войну с могущественной коалицией союзников, во главе которых стояла Англия. И тогда одновременно с войной на внешнем фронте револю-

ционному правительству приходилось подавлять непрерывные восстания в тылу, восстания крестьян, особенно в Вандее, восстания целых городов, как Лион, Марсель и Тулон, возмущения голодных рабочих и алчность спекулянтов. Воевавшие с Францией „союзники“ находились в сношениях и с монархическим дворянством и духовенством, и с вандейскими крестьянами, и с буржуазией, возмущавшейся экономической политикой конвента. И вот, первые грозные поражения на фронте и создали в Париже ту атмосферу паники, ту подозрительность сперва к „аристократам“, а потом вообще ко всем противникам правящей партии, которые и вызвали к жизни террор, сначала, в форме „сентябрьских убийств“ в тюрьмах, этого организованного самосуда, а затем в форме постоянного государственного учреждения. По мере своего развития, террор стал применяться одновременно и как *массовая расправа* за восстания против власти конвента (беспощадные расправы над жителями Лиона, Марселя и Тулона, варварски жестокое усмирение вандейских крестьян, вырезавшихся целыми тысячами, вместе с семьями „адскими колоннами“ революционного правительства) и как „мера предупреждения и пресечения“, как борьба со всеми протестантами, со всеми инакомыслящими, со всеми непорядками,— словом, как *метод управления*.

Неизбежная логика всякой партийной диктатуры приводит к тому, что все другие партии зачисляются в лагерь врагов отечества (или революции) и фактически становятся вне закона. Классический пример партийной диктатуры представляет собою диктатура якобинцев, с Робеспьером во главе. Они постепенно уничтожили ими же введенное вообщее избирательное право, и выборные учреждения были заменены комитетами якобинцев, в руках которых оказалась фактически вся власть и в центре, и на местах. Принятая конвентом „конституция 1793 г.“ осталась лишь на бумаге, так как, по мнению правящей партии, она не могла быть введена до полной победы над всеми врагами внешними и внутренними. И единственным спасительным средством от всех зол и бед мало-по-малу становился лишь террор, со всеми его последствиями.

По предложению Робеспьера, конвент постановил 3-го мая 1794 г., что „собственность патриотов священна и неприкосновенна; имущество же врагов республики конфискуется для общего блага“.

Понятно, какой это дало соблазн всем доносчикам, всем темным элементам. А если к этому прибавить, что все зачисленные в разряд „врагов республики“, т. е. фактически все политические противники господствующей партии якобинцев, рисковали не только конфискацией имущества, но и головой, то понятно, какой это вносило разврат в умы граждан, понятно, что к „патриотам“ охотно примазывались все, кто искал в этом почетном звании выгод и безнаказанности. И вот, в то время, как в числе жертв террора пало множество глубоко идейных людей, искренних и пламенных друзей народа и революции, бесконечно выше стоявших и в моральном и в политическом отношении, чем их судьи и палачи (многие жирондисты, гебертисты, Камилл Демулен, Дантон и другие),—в это время среди агентов знаменитого и грозного „Комитета Общественного Спасения“ было не мало бывших полицейских, не мало презренных личностей, пользовавшихся террором в своих *корыстных* целях для сведения личных счетов и для личного обогащения на счет казненных жертв. Борьба с контр-революцией стала *промыслом*, и, за отсутствием настоящих заговоров, их фабриковали члены и агенты Комитета. Так, напр., создано было громкое дело Ладмираля и Цецилии Рено. Ладмираль покушался на одного из членов Комитета; Цецилия Рено пришла к Робеспьеру, чтобы „посмотреть на тирана“. Они ничего общего не имели между собой. Тем не менее, вместе с ними арестовали всех их знакомых, родных, слуг, всего свыше 60 человек, всех судили, как участников одного заговора и всех казнили. И в подобных сфабрикованных заговорах и процессах неизменно фигурировали, в качестве главного козыря обвинения, после которого для подсудимых не было надежды на спасение, — „английское золото“ и „сношение с Питтом“ (английский министр).

Для успешной фабрикации заговоров, в тюрьмы сажали специальных шпионов, которые должны были выведывать тайны арестованных или, за их отсутствием, сочиняли их сами. И если в Париже у жертв террора был всё же суд, хотя и подтасованный и терроризованный, бывший послушным орудием в руках Робеспьера и его близких, но дававший подсудимым, по крайней мере, публично высказаться и оправдаться перед историей, то в провинции грубые и жестокие агенты Комитета, в роде Каррье, давали полный

произвол своей чисто садической жестокости. И десятки тысяч их жертв погибли безгласными и безымянными.

Диктатура Робеспьера и якобинцев была официально „диктатурой бедноты“, диктатурой санкюлотов, и якобинский террор формально был направлен против аристократов и спекулянтов, против открытых и тайных монархистов. Но и тогда у богатых было много средств избежать тюрьмы и казни. А жадный Молох террора требовал всё новой пищи, новых человеческих жертв, и на место аристократов и купцов на гильотину сплошь и рядом по самым ничтожным поводам и без всяких поводов попадали бедняки, безвестные рабочие и крестьяне, служанки и прачки, булочники, старьевщики, кучера, солдаты, поденщики и крестьяне, крестьяне без конца.

По вычислению Блосса, „из 2.750 человек, казнённых в Париже, только 650 человек принадлежали к состоятельным классам и занимали известное общественное положение. Остальные 2.100 жертв принадлежали к бедным, неимущим сословиям“.

Такова была картина французского террора.

II.

Несмотря на все темные стороны, все ужасы террора эпохи конвента, в исторической литературе социалистов установилась своего рода традиция, согласно которой террор считался исторически необходимой и прогрессивной формой революционной борьбы, и выражалось лишь сожаление по поводу его „излишеств“ и „эксцессов“. Но всякий политический террор, идет ли он снизу, от заговорщиков, или сверху, от власти, есть несомненный признак слабости, несомненный признак *отсутствия* активной поддержки масс. Это положение было всегда аксиомой для марксистов. Правительство, за которым, действительно, идут народные массы, не нуждается в терроре против своих политических и классовых врагов, ибо эти враги сами могут поднять голову лишь тогда, когда чувствуют за собой поддержку или, по крайней мере, пассивность значительной части народа.

Следовательно, террор является политическим орудием *меньшинства*, борющегося за свое господство и оспаривающего его у другого меньшинства народа. Так смотрел на

французскую революцию и Энгельс в своем известном предисловии к „Классовой борьбе во Франции“. Поэтому, хотя французский террор с этой точки зрения и выполнил отчасти свою задачу, вырвав с корнем феодальную аристократию старого режима и заменив ее временной диктатурой крайнего крыла мелкой буржуазии, но эта диктатура сузила размах истинно-народной революции и сама явилась признаком не силы, а слабости революции. С психологической точки зрения якобинский террор явился не только средством запугать врагов революции, врагов правящей партии, но и способом поддержать бодрость самой этой партии, усилить активность ее членов, создать ту атмосферу крови, которая взвинчивает нервы, которая опьяняет и кровавым туманом застилает в глазах и управляющих и управляемых все грозные опасности и неотвязчивые проблемы революции. Творческое бессилие террора проявилось во французской революции в полной мере. Якобинцы избрали его, как линию наименьшего сопротивления, но они не разрешили при его помощи ни одной из положительных задач революции, и это было одной из причин их падения. Страхом террора можно было поощрить нерешительного генерала, можно было испугать спекулянта, но нельзя было поднять ценность бумажных денег, нельзя было даже заставить крестьянство подвозить в нужном количестве хлеб в города. Можно сколько угодно расстрелять капиталистов, но промышленность этим путем еще не будет организована.

Можно казнить тысячи и десятки тысяч действительных и мнимых контр-революционеров, но это не поможет накормить ни одного голодного. Недаром парижские рабочие, утомленные террором, отвечали агентам Робеспьера, звавшим их на помощь: „Мы умираем с голоду, а вы думаете накормить нас казнями!“.

И никакой террор не спас бы Франции от экономической и финансовой катастрофы, еслиб этот гордиев узел не был разрублен победами Наполеона, который дал Франции награбленное в Италии золото, но зато поработил ее политически.

Но, будучи бессилен в области творческих революционных задач, не будучи в состоянии удержать революцию от распада, террор даже с узкой точки зрения укрепления мелкобуржуазной диктатуры, устранения врагов революции, приносит гораздо более вреда, чем пользы, как опять-таки с

достаточной убедительностью свидетельствует опыт Франции. Правительственный террор на время укрепляет власть господствующей в данный момент революционной партии, но он это делает за счет длительных интересов революции, отбрасывая в ряды контр-революции все новые и новые слои мелкой буржуазии и убивая активность и самодеятельность масс, по своему социальному положению сочувствующих революции. Террор на время запугивает и загоняет в подполье всех активных контр-революционеров, но уничтожить их он не может. Наоборот, благодаря создаваемой им кладбищенской тишине, террор имеет свойство *скрывать* действительное соотношение сил и поэтому чреват всякими сюрпризами и неожиданностями для самой правящей партии. 24-го марта 1794 г., когда вели на казнь осужденных гебертистов, они „по дороге на эшафот подвергались насмешкам и издевательствам со стороны *роялистов, собравшихся большими массами на улицах*, чтобы полюбоваться уничтожением революционной коммуны". (Блосс, стр. 210. Анархистски настроенные и связанные с низшими слоями пролетариата, гебертисты заседали в коммуне, в городской общине, и своими революционными действиями в пользу городской бедноты вызвали особенную ненависть роялистов).

Итак, после целого года террора в момент высшего торжества Робеспьера и Комитета Обществ. Спасения, роялисты могли толпами, демонстративно показываться на улицах!

А когда немного времени спустя пал сам Робеспьер, оказалось, что никто его не поддерживает, что он стал жертвой им же созданного всемогущего Комитета и им же доведенного до чудовищных пределов террора.

Ибо террор носит в самом себе неизбежные элементы разложения и вырождения. У него есть своя неумолимая логика. Из подсобного средства защиты государственной власти он постепенно выдвигается на первый план государственной деятельности, вытесняет на задний план всю творческую, положительную работу правительства, становится самодовлеющим государственным учреждением. Уничтожив на время всех врагов якобинской партии, французский террор стал косить свои жертвы в рядах самих якобинцев. Дантон и Демулен погибли за свою „умеренность", за то, что они пресытились кровью, пришли в ужас от террора, а Демулен предложил учредить „Комитет помилования". Наоборот, гебертисты, которые „считали систему террора необходимой до

тех пор, пока сила врагов республики не будет сломлена окончательно и пока иностранные государства не перестанут вооружаться против Франции“ (Блосс, стр. 207—208),— сами в свою очередь пали жертвами деспотизма Робеспьера. Комитет Общественного Спасения своей огромной черной тенью стремился заслонить всю революцию. И, в конце концов, он поглотил и самого Робеспьера.

Таким образом, развращая и правительство и народные массы, убивая в населении дух протеста и способность сопротивляться насилию, поселяя в нем разочарование в революции, взаимное недоверие и озлобление, революционный террор подготовляет психологические условия для длительного торжества реакции. Так диктатура Робеспьера подготовила диктатуру Наполеона, после которой реставрация Бурбонов могла казаться облегчением...

III.

Мыслим ли террор, как средство борьбы в эпоху социалистической революции, во время диктатуры пролетариата? Мы видели, что даже во время буржуазной революции, когда задачи крайней революционной партии были по существу лишь разрушительными, когда она лишь выкорчевывала пни старого общества и расчищала почву для буржуазного строительства,—мы видели, что и тогда террор, как метод управления, как средство мелкобуржуазной диктатуры, имел лишь весьма относительную революционную ценность, принес гораздо больше вреда, чем пользы. Что же сказать о социалистической революции, которая ставит себе грандиознейшую творческую, созидательную задачу, задачу переустройства всего общества на началах гигантского усиления производительности, на началах свободного взаимного сотрудничества? Ведь для решения такой задачи требуется высокая сознательность и огромное творческое напряжение сил самых широких народных масс.

И самая диктатура пролетариата в социалистической революции может осуществиться лишь тогда, когда этот пролетариат составляет сам большинство населения или же когда он окружен явной атмосферой сочувствия со стороны главной массы городской и сельской демократии, когда он в глазах всей этой массы является, по выражению Маркса

классом освободителем по преимуществу. Но в такой общественной атмосфере террор, как длительный метод управления, является ненужным и бесцельным, ибо упорство и сопротивление отдельных капиталистов могут быть сломлены сравнительно быстро, а главная трудность успешного социалистического преобразования общества заключается не в прямой борьбе с капиталистами и их наемниками, а именно в создании новой техники и новой трудовой, товарищеской психологии. Но для *таких* задач террор самое плохое средство. И то правительство, которое попыталось бы употребить террор, как средство приближения социалистического строя, доказало бы лишь свою полную неспособность не только осуществить, но даже понять, как следует, стоящую перед ним задачу. Ибо творческое бессилие террора, так ярко сказавшееся в буржуазных революциях, выступило бы еще ярче там, где нужно именно творчество, и притом творчество добровольное, которое может явиться лишь в результате долгой организационной работы, долгой социалистической выучки. И необходимость применения террора показала бы лишь, что не настал еще момент социалистической революции, что мы имеем дело не с социалистической диктатурой пролетариата, а с типичной мелкобуржуазной диктатурой...

Б. Горев.



Цена 4 руб.

Издательство „КНИГА“.

Петроград, Просп. 25-го Октября (б. Невский), 74, тел. 1-31-49.

Москва, у Покровских Ворот, Чистопрудный проезд, 19, тел. 3-98-39.